

# МАША ТРАУБ



Уважаемые  
отдыхающие!



Маша Трауб

**Уважаемые отдыхающие**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Трауб М.**

Уважаемые отдыхающие / М. Трауб — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-699-95569-5

Уважаемые отдыхающие! В курортных местах принято жить по другому календарю. Здесь есть всего два времени года – сезон и несезон. И два времени суток – открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! Эта книга для вас. Маша Трауб

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-95569-5

© Трауб М., 2017  
© Эксмо, 2017

# Маша Трауб

## Уважаемые отдыхающие!

© Трауб М., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

\* \* \*

*Все персонажи вымышлены, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.*

\* \* \*

– Ильич, куда ставить-то?

– На голову мне поставь!

– Так мне все равно, я могу и на голову! Сколько можно телепаться с этими стульями – туда отнеси, сюда принеси. Я чё, нанимался стулья таскать?

– Нанимался! Во двор отнеси!

– Так со двора принес!

– У Гали спроси. Она знает, куда ставить.

– Галина Васильевна! Куда стулья-то? Ща тут брошу!

– Я те брошу. На голову мне поставь!

– Ильич, у меня отдыхающие ключи уносят, не сдают. Я им говорю – сдавайте, я уберу, а они не сдают. Я ж зайти в номер не могу. Они ж потом жалуются, что мусор не вынесли, полы не протерли. Так мне жалко, что ли? Я ж понимаю, что людям в чистое хочется вернуться. Так я что, в форточку должна влезать? Как я без ключей-то? Давай сделаем запасные. Ну что я над этими ключами больше всех трясуся? От пятого – один остался. Ильич, слышь? От пятого, говорю, один. Если что – дверь ломать будем. Я им табличку, как ты велел, выставила – штраф за утерю. Так и что б они на табличку глядели! Да и зачем им таблички? Люди отдыхать приехали! Я ж хочу, чтобы чисто было, чтобы люди довольны, а они не довольны. Я им про ключи говорю, а они мне про мусор. Ну я их и так караулю. Так за всеми не углядишь – кто когда пришел, кто ушел. А если дети маленькие? Так надо до обеда убирать. Чтобы дите поспать могло. Ильич, давай дубликаты сделаем. Ну сколько можно просить? И окно надо починять на втором этаже. Хлобыстает туда-сюда. Я ж подкладываю бумажку, но оно все равно хлобыстает. Рама на соплях уже. Один раз шваркнет и на голову кому-нибудь свалится. А если ребенку, не приведи господь? Они ж во дворе все время!

– Настя! Вас для чего наняли? Чтобы вы убрали! Вот и убирайте! Если какие вопросы по ключам и уборке – скажите Галине Васильевне! Про форточку – к Феде.

– Чё Федя-то? Чуть что – Федя крайний! Раму я чинил. Сто раз говорил, нечего дергать и шваркать! Настя как шваркнет, так любая рама отвалится. Если осторожно поднажать, так она и закроется!

– Ильич, я не шваркаю! Там на соплях все давно. Как было, так и осталось. У Феде руки из одного места. Бывают же мужики безрукие! Ильич! Давай слесаря нормального вызовем! Да хоть Мишку!

– Вызывай своего Мишку. Он уже неделю бухает.

– А тебе лишь бы языком чесать! Стулья унеси со двора! Ильич, так чё с ключами-то? Я ж уже как партизан за отдыхающими слежу. Они от меня шарахаются. Я ж только убирать.

– Где Галина Васильевна? Галя! Галя!

Этот разговор происходил в небольшом дворике перед зданием, которое теперь именовалось гостиницей, а раньше было пансионатом, еще раньше – доходным домом, а еще раньше – частным.

Частный дом строили для себя, для семьи, многочисленных разновозрастных детей, тетушек с низким давлением, дядюшек с бронхами, кузин с нервами и кузенов с карточными долгами. Специально выписанный из столицы садовник отвечал за дерево шелковицы, которое так любила кузина с нервами, кусты олеандров, крошечные пальмы и каштановые деревья. Два кипариса были специально высажены на террасе под окнами для главы семейства, который, впрочем, так их ни разу и не увидел. Как и собственный частный дом. Глава семейства страдал сердцем и лежал в покоях в столице, пока садовник колдовал над кипарисами – приживутся ли? Кипарисы прижились, а хозяин дома отошел в мир иной.

Вдова приняла решение превратить усадьбу в доходный дом, что вызвало массу пересудов среди многочисленных родственников. Но перспектива дохода оказалась желаннее, чем никому не нужная память о покойном. Вдова же, при жизни мужа не вмешивавшаяся в ремонтные и прочие хозяйственные дела, вдруг обнаружила не пойми откуда взявшуюся деловую жилку и затеяла грандиозный ремонт, решив провести в дом водопровод и уж совсем небывалое излишество и роскошь – канализацию.

О доходном доме быстро заговорили. И комнаты не стояли пустыми. Вдова разбогатела так, что покойный муж в гробу переворачивался. Родственники все как один молчали, благодарили и улыбались. Им тоже перепало от доходов. Вдова вдруг стала состоятельной женщиной и снова богатой невестой. Незамужние кузины хотели что-то сказать, но языки прикусили. С вдовой ссориться было невыгодно.

И уже можно было начинать гадать, что будет дальше, за кого вдова в результате выйдет замуж, если бы не новые порядки. Вдова первой почувствовала, что «дело пахнет керосином», как сказали бы в советские годы, и передала доходный дом на нужды революции. Кузины считали, что не безвозмездно, а за приличную сумму. Это потом стали забирать и национализировать, а вдова успела продать. Иначе на какие шиши она бы обосновалась в Париже вместе с новым мужем? Ушлая оказалась дамочка. А с виду и не скажешь. Откуда что взялось? А ведь раньше была тихая, неприметная.

После революции дом регулярно потряхивало. Он повидал на своем веку многое – и беспризорников, для которых здесь была устроена школа, и видных деятелей, приезжавших сюда отдохнуть от государственных дел. Потом здесь располагались детский сад, госпиталь, некоторое время дальняя дача для начальства, ближняя дача, снова детский сад и, если верить сплетням, дом свиданий. Несколько лет дом стоял заброшенный, забытый, поникший, никому не нужный.

Уже в позднее советское время про дом вспомнили и решили применить его туда, куда не нужно, но вроде стоит, потому как больше вроде и некуда. Государственные деятели предпочитали другой пансионат, для больницы было построено новое здание, детский сад обосновался в еще одной новостройке. После недолгих споров дом с трудной судьбой был объявлен Домом творчества. Так сказать, для работников культуры в широком смысле. Сюда могли получить путевку художники, музыканты, писатели, журналисты и другие деятели творческого труда. В одном месте и под условным пригласием.

Внутренности и внешность дом, получивший гордое название, изменил кардинально, тут уж ничего не поделаешь. Прежде всего появились таблички на стенах. Просто удивительная в то время была страсть к табличкам и плакатам. Разрешается, запрещается, правила поведения. Это сейчас смешно вспоминать. Молодежь, та вообще не понимает. А раньше понимали – распорядок дня, корпус открыт «с и до». «Посещение посторонних лиц без талона на проживание запрещено». «Постельные принадлежности выносить из корпуса категорически запрещено».

«Телевизор в холле выключает дежурная в 23.00». «Отход ко сну в 23.00. Администрация». «Закрывайте двери в корпус. Администрация». «Перед выездом сдать номер дежурному администратору. Администрация».

Мифическая инстанция. Строгая и карающая. Ох, молодежь ничего не знает, а старшее поколение помнит. Поэтому слушается. Загуляли после одиннадцати – всё, двери на замке. И хоть стучись, хоть ломись, не пустят. Ладно, если номер на первом этаже, тогда можно через балкон перелезть. Или умолять дежурную, стоя на коленях, и обещать, что в первый и последний раз. В зависимости от темперамента и жизненного опыта у жильцов были и свои способы нарушать запреты и задабривать строгое карающее божество под названием «Администрация». Кто-то ломился в двери с бутылкой вина и шоколадкой, кто-то шуршал купюрами, кто-то устраивал скандал, да так, чтобы все слышали. Творческая интеллигенция, что с нее взять? И выносят, и не сдают, и ко сну вовремя не отходят.

Галя, Галочка, Галина Васильевна, Галчонок – как только ее не называли отдыхающие – дверь всегда оставляла приоткрытой. Только чуть толкнуть надо. И люди ей понятливые попадались – заходили тихо, на цыпочках, дверь аккуратно прикрывали, чтобы не грохнула ненароком. Федя же, когда дежурил, запирали калитку на все замки. Люди трясли железную дверь, сначала деликатно, потом настойчиво, били камнем по решеткам, а он сидел в своем закутке на посту, за ситцевой занавеской, и не открывал. Ему нравилось власть показывать. Потом открывал, конечно, но с таким особым одолжением. Перед этим еще кричал, громко, чтобы все слышали: «Правила для кого писаны? Для всех писаны! Не открою! У нас порядок! И не стучите!» Потом, конечно же, открывал, потому что с балконов начинали кричать: «Да пустите их уже! Сколько можно?» Калитка, хоть и железная, еженощных терзаний, естественно, не выдержала. Собачка слетела, и замок держался на честном слове. Галя предложила оставить дверь нечиненой, чтобы люди могли свободно входить и выходить. Не только отдыхающие, но и все желающие посидеть во дворике под кипарисами, в тени, в прохладе.

– Чужих пускать? – возмутился Федор, будто речь шла о его собственной жилплощади.

Федя ныл, скандалил, ходил к Ильичу каждый день и проел-таки ему плешь. Но это было уже позже, можно сказать совсем недавно. Несколько сезонов назад. Ильич решил не чинить входную калитку, как хотела Галя, – пусть заходят, пусть сидят, но дал разрешение на установку железной двери с кодовым замком на входе в само здание, как просил Федор. Вход считался черным, но пользовались им активно, особенно дети, которые бегали по двору, потом неслись в туалет, рискуя описаться по дороге. Но Федя сказал, что если посторонние решат зайти и что-то украдут, то он предупреждал. Дверь поставили. И кодовый замок. Первые два дня после установки Федор был счастлив. Просто на седьмом небе. Ходил и светился. Поскольку была его смена и отдыхающие, привычно заходившие через беззамочную калитку во двор, застревали в недоумении перед еще одной железной дверью, с кодом. И снова приходилось искать камень и стучать по прутьям. А за дверью маячил Федя и наслаждался: «Правила для кого писаны? После одиннадцати вход воспрещен! Администрация!»

Но Федорово счастье длилось недолго. Вышедшая на смену Галя выдавала код, который оказался простым до неприличия – «два-четыре-шесть» всем отдыхающим. Дети быстро наловчились нажимать на кнопки, причем с обеих сторон. Кнопочки находились с внутренней стороны, то есть открыть дверь можно было только изнутри. Но дети выкручивали руки, отжимали, открывали и пропускали всех желающих. Взрослые тоже научились вслепую попадать пальцами куда надо и заходили беспрепятственно.

Федор, когда заступил на смену, сначала даже не понял, что все его старания пошли насмарку – никто не кричал, не стучал в дверь. А когда увидел, как отдыхающие ловко, просовывая руку между решеток, нажимают код, то впал в истерику. Оставалась надежда на новеньких проживающих, которым старенькие не успели передать сокровенное знание о коде. И ведь раньше никто не спорил, права не качал. А сейчас?

– Мы тут чё, бесплатно живем? Отдыхать приехали. Деньги вы дерете, как в Европе. А сервис – совок, – взъерепенился как-то мужик-отдыхающий, – слышь, ты, на неделю я тут хозяин. И буду гулять, приводить, выносить, проносить, сколько и кого захочу. А ты сделай так, чтобы мне понравилось тут. Понял?

– Возмущаются они! – бубнил Федор. – Так и пусть ехают туда, к нам тогда чего прутся? А если прутся, то у нас тут не Европа!

Да, не Европа. Узкие улочки, созданные для крошечных машинок, велосипедов, мопедов и прочей мелкогабаритной техники, втискивали в себя джипы-внедорожники, «газели», привозившие продукты, «мерседесы» с широкими задками и грузовики, доставлявшие кирпич для постройки новых частных домов. Потому что у нас тут вам не так, как у них. У нас «газель» – главная машина!

Машины едут по набережной. Кто-то давит на гудок, кто-то нет. Под колесами оказываются дети, мячи, мамыши, опять дети и снова мячи. Удивительно, но ни одного несчастного случая. Дети и мячи в целости и сохранности. Наверху, у начала набережной, надо развернуться на крохотном пятачке, где уже стоят автомобили. Или ехать в объезд, по дороге, рассчитанной на одну машину, цепляя зеркалами стену. Местные, те с закрытыми глазами едут, задом сдают так, что залюбуешься. Если же кто застрял да корячится, выехать не может, – точно приезжий. А потом снова вверх, где еще уже. И тут счет идет на миллиметры. Местные все водители – миллиметровщики. Другой дороги-то нет. Еще, бывает, встанут и перегородят машинами улицу. Отдыхающие по стеночкам домов протискиваются. А водилы стоят и про жизнь, про погоду болтают. Италия вроде как. Те, кто был в Италии, говорят, что там точно так же, как здесь. Так что на самом деле не хуже, чем в Европе.

Про постельные принадлежности – очень нужный пункт. Это сейчас подстилки на любой вкус. А раньше? Ладно еще отдыхающие покрывала с кровати на пляж носили, так еще и одеяла шерстяные утаскивали! Расстелят, камешками с четырех сторон придавят и ложатся загорать. С одной стороны, удобно – мягко, галька в спину не врежется. С другой – жарко и колко от такой подстилки. Долго не лежишь – опять в море бежать, чтобы от пота, который сразу выступает, если на шерсти лежишь, ополоснуться. Девушки терпят – лежат до последнего, пока одеяло не начнет так парить, что мочи нет, а кожа не покраснеет. Потом, после пляжа, с одеялом одни мучения – от соли колом стоит, полоскать на руках – никаких сил не хватит. Оно же неподъемным становится. Нет, некоторые отчаянные девушки пытались стирать – укладывали одеяло в поддон душа и поливали сверху. Только потом как отжать? Не отожмешь. Пока до балкона дотащишь, весь пол мокрый. На балконе и вовсе по щиколотку. Вода с одеяла не ручьем, а полноводным потоком стекает. В общем, кто хоть раз пытался стирать одеяло – знает. Руки помнят.

И запах. Да, как же можно забыть про запах, который немедленно начинает источать мокрое шерстяное одеяло? Впитав в себя целый букет – от сигаретного дыма и вяленой рыбы (да, в прошлом сезоне отдыхающие на одеяле рыбу разделявали) до аромата духов, ничем не выветриваемого (в позапрошлом сезоне мужик так и не смог объяснить внезапно нагрывавшей жене, отчего в номере отчаянно воняет чужой бабой), – одеяло при замачивании начинает отдавать всё сразу. И тут уже особо чувствительным не устоять. Аж глаза начинают слезиться.

Вот и что делать со злополучным одеялом? Сложить и убрать в шкаф подальше, лучше на верхнюю полку, пусть потом уборщица разбирается. А уборщице что делать? В стиралку не засунешь – барабан не тянет, да и не помещается. Только в химчистку. А химчистка под запрос, с разрешения директора. Директору же не до одеял, у него других забот полно. Так что одеяло вывешивается в углу двора, на прожарку, на солнцепек, выбивается палкой, а то и веником. Поливается дождем и снова выжаривается. Пятна если и остаются, то их не видно – одеяла-то коричневые.

Да и зачем, скажите на милость, одеяла в сезон? Жара же. Сдохнуть можно. Вечером прохлада долгожданная. Ночью хоть охолонуться можно. Но по укомплектации положено одеяло в номере. Да и мерзлявые дамочки попадают – им укрыться хочется.

Но это ладно. Пусть укрываются, если желают, только зачем на пляж-то тащить? А они тащат! На набережной что только не продается – и коврики из соломки, и полотенца. Да хоть матрас купи и лежи сколько хочешь. Очень удобно. Так нет же, все равно одеяла тащат. Несколько раз вообще ковровые дорожки на пляж выносили. Ну что за люди? Вниз дорожку кладут, сверху полотенце казенное и валяются. Им хорошо, а что потом с дорожкой? Мелкие камни прилипают, пылесос их заглатывает, поперхивается и ломается. Пылесосов не напаешься. Ладно бы обтрухали за собой, так нет же.

Зато жалуются, что сток в душе засорился. Вода в поддоне стоит. Конечно, стоит, как не стоять? Волосья свои намывают, сток засоряется. Зачем голову каждый день мыть? Раз в неделю нельзя? Вредно ведь, когда каждый день. Все знают, что вредно. Мало волосьев, так еще и камни, песок. Струсить-то никак нельзя заранее? Сами виноваты. А еще жалуются. И ты им перечить не смей. Они ж по путевке, деньги уплочены.

Все-таки раньше порядку больше было. Люди понимающие. Вот напишешь им объявление: «Закрывать дверь после захода в помещение!» – и они закрывают. Не все, конечно, но большинство. Или: «Перед заходом в спальный корпус – обтруситься!» И ведь тоже понимают. Обтрухаются.

А сейчас? Им хоть на лбу напиши – наплевать. Вежливо просишь: закрывайте дверь – а они и бровью не ведут. Еще и оскорбляются – мол, вы тут услуга, вы и закрывайте двери.

Настя за дверь очень ругается. Прямо пунтик у нее. Если кто закрывает, она даже улыбнется, мусор пораньше вынесет. А если не закрывают, так Настя ничего с собой поделать не может – обязана убратся, а не убирается. Тряпкой повозит и выходит. У Насти для женщин два определения – засранка и чистюля. И не понятно, что хуже. Если вещи разбросаны, так засранка, если убраны, Настя тоже недовольна. Она любит наряды разглядывать. Особенно у столичных дамочек. Сразу понимаешь, что сейчас в моде, а что нет. До них-то мода лет через пять дойдет и то в лучшем случае. А Настя всегда в курсе новинок. Поэтому чистюль не любит. У Насти же правило – в шкаф она не лазит. А вот если валяются на стуле или на кровати, то можно. Галина Васильевна сколько раз говорила, предупреждала, но у Насти была своя железобетонная логика:

– Я ж не меряю, я только смотрю.

Вот интересно. Галина Васильевна думала, что Настя здесь надолго не задержится. Не ее эта работа. Да сколько уж таких Насть переменилось, и не сосчитать. Приезжают на сезон, присматриваются, а там кому как повезет. Или не повезет. Галина Васильевна с десяти метров видела – кто только сезон продержится, а кто и сезона не пробудет. С Настей ошиблась. Прижилась.

– Галина Васильевна, я чё, каждый день должна полотенца менять? А белье они хотят чистое – раз в три дня. Кто им стирать будет? Я, что ли? Пусть едут в пансионаты и там хоть обстирайся. Галина Васильевна, скажите Ильичу за машинку. Она у меня уже конем скачет, всю плитку на полу сбила. Когда отжимает, так я на нее чуть ли не ложусь, чтобы удержать. Они просят, чтобы я им вещи постирала. И деньги суют. Да зачем мне деньги? Мне машинка новая нужна! И счетчик выбивает! Там совсем кранты! Если машинка тянет, то чайник я уже не включу. И уют еле-еле теплый. Так мне что – убится за это белье? Ильич на меня ругается, отдыхающие жалуются. А я при чем? Зачем им каждый день? Такие грязные, что ли? Раз в пять дней положено ведь! Уборка по запросу. Мусор накопился? Так что, сложно подойти и сказать, что корзина полная? Я догадываться должна? А они спрашивают, что значит «уборка по запросу»? Галина Васильевна, вы им объясните, что, если попросят, уберу. Если им не надо,



то и мне не надо. Можно же в положение войти. Если у меня два номера съехали, так я там убираю и все меняю. На другие у меня времени нет.

Но по натуре Настя была добрая и безобидная. Скандальная, это да. На пустом месте заведет волынку – не остановишь.

Вот Федор, тот злой. Маньяк. Ему нравилось над людьми издеваться. Когда дежурил, то всё, считай, всех изведет. Прямо наслаждался властью. Увидев отдыхающих, которые шли на пляж или на завтрак, он тут же хватал телефонную трубку и изображал важный разговор. Делал знак отдыхающим – мол, подождите. Отдыхающие покорно останавливались, потому как администратор просто так не остановит, значит, что-то важное. Федор еще пару минут имитировал телефонный разговор и затем с важным видом утыкался в какую-то писульку – лежавший на столе листок.

– Вы из седьмого номера?

– Да, – снова пугались отдыхающие.

– Тогда вам смена не положена. Через два дня.

Он дожидался следующих отдыхающих и снова хватался за телефон. Тут уже было поинтереснее, но начало разговора оставалось неизменным.

– Вы из десятого?

– Да.

– Вам сегодня положена смена, – объявлял наконец Федор.

– Смена чего?

– Как чего? Белья! Ждите, сейчас я вызову уборщицу, вы с ней все обговорите.

– А что тут обговаривать? – удивлялись отдыхающие.

– Ждите. Потом чтобы без претензий!

Настю Федор никогда не звал. Она бы не пришла, да еще бы и обматерила так, чтобы все слышали. Настя Федора ни во что ни ставила, ни в грош. За мужика вообще не держала. Федор злился, но Настю побаивался. У них была своя, давнишняя история.

Когда Настя только появилась, а она появилась в пансионате позже, чем все остальные, Федор ее прижал. Настя, впрочем, была не против. Но Федор ничего не смог по мужской части. Настя не то чтобы удивилась, и не на такое напарывалась. Но Федя решил, что в его бессилии виновата новая горничная, и начал ей мстить. Он ходил к Ильичу и передавал жалобы на Настю от отдыхающих. Требовал ее уволить. Но Ильич, которому Настя нравилась за легкость и добрый, отходчивый нрав, за бесхитростность и язык без костей – она сначала говорила, потом думала, – увольнять ее не собирался. Настя же про хождения Федора не знала и даже не подозревала. Федя же с горя напился и опять начал приставать. Настя опять была не против, но опять не сложилось. И Федор в ярости двинул Насте кулаком в скулу. Ее ударом по морде было не удивить, но она привыкла получать от мужиков настоящих – за дело, за то, что с другим гуляла, а не от импотентов всяких. Пока Настя в шоке потирала скулу, Федор возбудился и начал к ней лезть. Настя от такой наглости обалдела и шваркнула Федю по голове настольной лампой.

На следующий день она, замазывая синяк тоналкой, всем немедленно сообщила, что Федор-то импотент да еще извращенец – руки распускает, по мордасам бьет и только после этого у него встает. Насте все немедленно поверили – ей какой смысл врать? И Федю прозвали Федор Полшестого.

Один сезон сменялся другим, но отдыхающие отчего-то сразу узнавали Федину кличку, а дамочки брезгливо морщились и совершенно его не стеснялись.

Сначала Федор бесился, ерепенился, но постепенно смирился. Настю он демонстративно не замечал.

Поэтому, когда дежурил, звал Светку.

Светка приходила:

– Чё звал?

– Не звал, а вызывал, – отвечал Федор, – обговори с отдыхающими уборку.

– Чё обговаривать? – огрызнулась Светка.

Федор злился. Вот ведь дура, даже подыграть не может. Надо бы этой козе рога обломать. Ходит тут, задом вихляет. Перед каждым молодым мужиком крутится. Да была б его воля, он бы ей... он бы ее быстро... к ногтю... через колено... чтобы даже не пикнула... Волосья опять выкрасила. Шалава малолетняя. Вся в мать.

Конечно, свои мысли Федор держал при себе. А если бы попытался рот открыть и хоть слово сказать из того, что думал, то у Галины Васильевны не задержится – махнет и припечатает. Рука у нее тяжелая. Еще и Настя поможет. Да и Ильич будет на Галиной стороне, как всегда. Нет, Ильич никуда не годится. Какой из него начальник? Вот Федор бы тут порядок навел. Тут бы все по струнке ходили. И никакой Европы. Он бы вернул сюда порядок, как раньше. Чтобы место свое знали. Рот не раскрывали. Боялись. Людей надо в страхе держать, тогда порядок будет.

Федору было тридцать восемь лет, из которых он двадцать проработал в этом пансионате. Сначала был на побегушках – унеси, принеси. Дорос до администратора. Ну, как дорос? Других администраторов как бы и нет. Галина Васильевна – главный администратор, а Федя обычный. Как же он хотел этой должности! Чтобы хоть мизерная, но власть. Чтобы хоть за своей конторкой, но начальник. Поиздеваться хоть малость, но так приятно. Такая сладость в душе образуется. А то, что Настя ему репутацию такую обеспечила, так сама дура. Сколько лет, а все в горничных. Так ей и надо.

Но Федору мало было назначения. Он хотел, чтобы все видели, кто он.

– Виктор Ильич, мне бы табличку, – канючил Федор при каждом удобном случае.

– Тебя и без таблички все знают, – отмахивался Ильич.

– Я не для себя, для удобства отдыхающих.

Федя чуть не плакал от отчаяния, и Ильич сдался. Собственноручно напечатал бумажку крупными буквами – ФЕДОР, распечатал на принтере и отдал Феде. Тот, высунув от волнения язык, принялся обрезать, чтобы вставить листочек в рамку, стоявшую на стойке. Вышло криво, и Федор еще дважды просил Ильича напечатать снова.

Рамка, кстати, была большая, красивая, массивная, с позолотой, с прежних времен осталась. Надпись шрифтом с вензелями «Дежурный администратор» и пустое оконце для имени. Федор вставлял бумажку в оконце и любовался. Правда, любованье скоро уступило место раздражению. А всему виной то, что Федор много думал. Так про себя и говорил какой-нибудь зазевавшейся отдыхающей дамочке, которая вдруг задерживалась перед плакатом по технике безопасности.

– Я часто думаю... – тут же начинал откровенничать Федор. А он, надо сказать, был болтлив, любил посплетничать и очень ценил таких вот интеллигентных дамочек. Такие не пошлют. Будут стоять, кивать и слушать. Им будет неловко прервать монолог Федора, потому что они «воспитанные». А Феде того и надо. – Я думаю много... мне бы поменьше думать, а я не могу. Мыслей у меня много, аж голова трещит.

Федор и вправду иногда страдал от обилия мыслей. Вот сейчас, как и вчера, как и позавчера, он думал о том, что просто имя, пусть и в красивой рамке с золотом, выглядит не так достойно. У Галины Васильевны как? «Галина Васильевна». Солидно. Сразу все уважать начинают и обращаются по имени-отчеству. А к нему только по имени. Надо поговорить с Ильичом, пусть он тоже будет с отчеством. И новую бумажку потребовать. Или хотя бы с фамилией. А как лучше? Федор Соловьев или Федор Николаевич? Конечно, Федор Николаевич Соловьев – звучит. Но Ильич не позволит, точно. Поэтому надо просить или фамилию, или имя-отчество. Вот это надо еще обдумать хорошенько, прежде чем идти к Ильичу. А на Светку стоит пожа-

ловаться. Она на него смотрит так, будто он прыщ какой-то. А ведь он администратор. А эта ссыкуха нос задирает. Да должна при нем мухой летать, а то, малолетка наглая, встанет, молча выслушает, фыркнет и уйдет, вихляя жопой. Но про Светку лучше потом, после таблички. Со Светкой успеется. Вот бы ее... да завалить... да чтобы вырывалась и орала... а он бы ей пару раз съездил, тогда бы знала свое место.

Часто Федор думал о том, что бы он сделал со Светкой. Иногда даже на ночь думал, и тогда приходилось вставать и мастурбировать, от чего злоба на Светку только усиливалась. Импотентом он не был – тут Настя ошиблась. Когда с отдыхающими про уборку или смену белья разговаривал, так возбуждался. Когда ворота не открывал, тоже. Когда думал, как Светке морду ее красивую разбить, чуть ли не на стену лез.

Но к своим тридцати восьми годам он умудрился остаться холостым и бездетным. Как ему такое удалось при большом дефиците мужиков, когда даже самые заваливающие, никудышные шли в дело, рвались бабами на части, непонятно. Федор считал, что все из-за того, что он слишком умный и ему не нужна абы какая. Нет, бабу под боком иметь хотелось. Но не так чтобы очень. Куда больше он мечтал об имени с отчеством и даже фамилией в табличке. О том, чтобы задать жару Светке и стать главным администратором вместо Гальки, а то и место Ильича занять. Конечно, Галькой Федор называл главного администратора только в своих бурных фантазиях. А так обращался к ней Галина Васильевна».

Как Федор каждый день думал о Светке, так и Галина Васильевна каждый вечер ложилась с мыслью о дочери. Волосы зачем-то покрасила. Теперь с красной головой ходит. Ведь такие красивые волосы – блондинка натуральная, коса с руку толщиной, чего ей еще надо? Фигурка ладненькая. Грудь, попа, ноги длинные. Молодость всегда упругая, красивая, пышущая, зовущая, звонкая, летящая. Вот и Светка такая же – в самом соку. Но взбрыкивает. Придумала в красный покраситься. Смотреть тошно. Как бурак. И только фыркает, если что-то скажешь. Спасибо, что хоть пока под приглядом. Вдруг захотела работать в пансионате, сама попросилась. Да как попросилась – перед фактом поставила. Буду работать, и точка. Мое дело, я так решила. Сезон отработаю, потом поступать в институт буду. С детства такая. Слова поперек не скажи. Все равно по-своему сделает. Спасибо, хоть Ильича слушается. Мать жалеет. Работает, надо признать, хорошо.

Галина Васильевна переживала, что дочь начнет романы крутить с отдыхающими. Молодежи-то много было – и художники приезжали, и актеры, и поэты. Но Светка цену себе знала. Нет, принца не ждала, но и на каждого встречного-поперечного, заезжего-приезжего не кидалась. Настя-то попроще была. Все в сказки верила. Что приедет принц, влюбится и замуж позовет. И вот ведь дурища – сорок лет, а ума нет. Ждала свое счастье, которое ей на голову свалится. Не валилось. А то, что валилось, быстро заканчивалось. Через неделю или две, уж на сколько принц приезжал. Настя каждый раз рыдала навзрыд, переживала искренне.

– Не надоело тебе? – однажды резко спросила Светка.

– Что? – не поняла Настя.

– Рыдать не надоело? Да я б к таким вообще не подошла. По морде же все видно.

– Что видно? – Настя даже плакать перестала.

– Ты себе не мужиков выбираешь, а баб. Все твои хахали как бабы истеричные. Они даже думают как бабы.

Настя снова начала плакать, а Галина Васильевна по-новому посмотрела на дочь. Да, та была из другого теста. Вроде как и не местная. С характером. И в мужиках разбиралась лучше любой Насти. Да и в бабах тоже. Знала, кому улыбнуться, с кем пошутить, кому что сказать, а с кем лучше промолчать. Светка обладала редким женским качеством – интуицией. Она чувствовала людей.

Галина Васильевна знала – или Светка встретит своего принца, или влюбится по уши, как дура, и пустит всю жизнь под откос. Галя видела, что дочь в нее. Она сама такая в молодости

была. И что? Влюбилась – и под откос. Только Светка осталась. А то, что осталась – судьбу надо благодарить. С принцем же Галя промахнулась. Хотя как сказать? Светка-то не в ее породу пошла, в принцеву. Все от отца – и ноги, и скулы высокие. Характер Галин, а упертостью опять в отца. И легкостью. Она легко по жизни шла. Тоже редкое качество, когда женщина легко идет. Обычно тяжело тащится: еще молодая, а уже насупленная, согнутая, недовольная. Светка хоть и упертая, упрямая, категоричная, но смешливая, дурная. Энергии – через край. Вот и выплескивает, как может, – волосы красит, иногда Федора задирает нарочно.

Много лет Галина Васильевна старалась забыть прошлое, но оно всплывало снова и снова – со Светкиными вдруг проявившимися высокими скулами, внезапно выросшими длинными ногами. Прошлое напоминало о себе Светкиным поворотом головы и привычкой крошить хлеб на тарелке, узким запястьем, светлыми волосами, которые выгорали на солнце и становились белыми. По-настоящему белыми. Ну вот зачем эта дуреха испортила волосы? Зачем перекрасилась?

Светка с детства была самостоятельной. Даже слишком. Жизнь заставила. Галина Васильевна с дочерью не спорила. Если та втемяшила себе что-то в голову, то хоть тресни – не мытьем, так катаньем своего добьется. Упертая, как сто ослов. Вот как с работой. Галина Васильевна не знала что и думать. Светка пойдет уборщицей? Ее Светка? Ильич сказал: «Раз сама хочет, пусть идет».

С формой одни мучения были. Да что были? До сих пор. Уже Ильич вмешался, а что толку-то? Ну что ни напяль на нее, все равно и грудь, и попа, и ноги... И молодость, которая из-под любого хламья и балахона выпирает, не удержать. Светке-то «пофиг», так и говорит, хмыкая, а у Галины Васильевны – головная боль и бессонница.

Халатик белый, по середину колена, Светке выдали. Днем жарко, Светка под халатиком в лифчике и трусах. Так срамота – мужики-отдыхающие, солидные, с женами, бошки сворачивают. Светка над мусоркой наклоняется, чтобы вытряхнуть, а мужики слюной истекают. Жены, конечно, недовольны. А недовольные жены – самый сложный контингент. Они если скандалить начнут, так не остановятся. Светка, дурища, черные трусы и черный бюстгальтер нацепила. Конечно, все просвечивает, все лямки видны.

Галя дочери, конечно, выговорила по первое число. Но не помогло. Пришлось Ильича просить – Светка если кого и слушает, то только Ильича. Тот мягкий, деликатный, вежливый, что-то ей там шепотом в кабинете сказал. Светка на следующий день трусы с бюстгальтером сменила с черных на телесные. И опять все не слава богу. Будто голая под халатом. Ничего не видно, ничего не просвечивает, а мужики еще больше дуреют. Таращатся уже при женах живых, которые рядом стоят. Опять одна скандал закатила – что горничная чуть ли не стриптиз устроила.

Ильич с Галей нацепили на Светку синий халат уборщицы. И опять беда – нужного размера не нашлось, а нашлось на два больше. Светка покорно надела, только хмыкнула. И что? Стало только хуже. Грудь из разреза вываливается так, что до пупа все видно. Еще этот синий, оказывается, просвечивает. Хуже, чем белый, оказался. Мужики уже с высунутыми языками вслед смотрят, додумывают то, чего под халатом и нет. Фантазию им дали этим халатом. Светка ходит, хмыкает, но видно, что довольна. Пока жены не видят, мужики ей в карманы халатика деньги суют – за смену полотенец якобы. Светка делает вид, что не замечает. Стриптиз чистой воды. Она попой молодой крутит перед мужиком, тряпкой елозит, наклоняется, дотягивается, а он ей в карман деньги пихает. Спасибо, что не в трусы. Вот что с ней делать?

Галя иногда по ночам плачет. Но дочь зарабатывает больше, чем она.

– Светочка, ты бы переделалась. Нельзя так. Неприлично. Что о тебе подумают? – пыталась вразумить дочь Галина Васильевна.

– Наплевать. Лишь бы платили, – с молодым цинизмом отрезала Светка.

А теперь вот покрасилась в красный.

– Зачем? – ахнула Галя.

– А что?

Светка часто отвечала вопросом на вопрос. От этого вызывающего «А что?» Гале становилось страшно за дочь. И за себя, конечно же. Ведь у нее, кроме Светки, никого.

– Светочка, у меня же, кроме тебя, никого! – говорила Галя.

– У тебя Ильич есть, – отвечала Светка и была права. Да, у Гали был Ильич.

А у Ильича – сын Славик. Но об этом потом.

Пансионат переименовали в Дом творчества. Для работников культуры. Комнаты уплотнили и разделили по категориям. Стандартный номер, повышенной комфортности, директорский, он же под звездочкой, люксы. Двухместные, трехместные. В небольшие комнатки с огромными балконами-лоджиями втиснули кровати, обозвав их койко-местами. Три в ряд у стенки в комнате, еще одна на балконе. Тумбочка у каждой кровати персональная, шкаф же один – общий. Подсобные помещения превратили в душевые – тоже общие – и уборные. Сортиры, туалеты, клозеты – кому как нравится. На дверях появились обозначения – два нолика. Или две буквы «о» – тоже кому как нравится. Или два очка, и так тоже можно. Туалет. Узкий, как конура. Не повернешься, не развернешься. А зачем, скажите на милость? Сел или встал, пристроился и нечего крутиться.

На душевой так и написали – «Душевая». По утрам по коридору люди спешили занять очередь. Лучше, конечно же, было подружиться с соседкой, и тогда очень хорошо и удобно – одна стоит в душевую, другая – в туалет. Одна держит рулон туалетной бумаги, у каждого свой, персональный, другая – полотенца, вафельные, стиранные-перестиранные, страдающие от отсутствия синьки, крахмала и хозяйственного мыла и потому быстро пришедшие в негодность. Отказываются впитывать, хоть ты тресни. Трешься, а все равно мокрая. Так вот меняешься, в зависимости от того, чья очередь быстрее подошла. И не занимаешь надолго, потому как стучать в дверь начнут. В туалет очередь всегда длиннее. Некоторые в море моются или под шлангом, который на пляже. Мыло берут с собой и там намываются. Но это мужчины в основном.

В душевой неприятно. Смыться и бегом вон. Два душа прямо напротив двери. Ни загородок, ни отгородок. Стоишь голым задом к двери, чтобы поприличнее было. А дверь все равно хлопает – душ-то общий. Но пристроились, организовались, сообразили – женщины по две заходят, следующие за ними караулят. Мужчины тоже по двое. По одному – бабы выпихнут из очереди – нечего всю душевую занимать. А окно прямо на соседнюю столовую выходит. На кухню ихнюю. Из кухни такой вид открывается, что аж дух захватывает. Со всеми подробностями, так сказать. Повариха тетя Валя только успевает гонять Олежу – сына тринадцатилетнего. Парень немножко ку-ку. К нему привыкли. Внимания не обращают. Ну, стоит пацан, пялится. Он и с виду дебиловатый. Пусть хоть какая-то радость. Больной, что с него взять? Говорят, у таких только два инстинкта – пищевой и половой. Но точно никто не знает, что у Олежи в голове. Тетю Валю все жалеют из-за сына. Она целыми днями в столовке, а по выходным по горам ходит, травы собирает. Потом Олежа на набережной стоит и лавандой торгует.

– Лаванда! – кричит Олежа, но не так, чтобы зазывно. Ему бы к окну побыстрее вернуться.

Он как к окну прилепится – не отлипает. И рука сразу в штанах. Тетя Валя его полотенцем шваркнет, от окна отгонит, отвернется, повернется, а он опять перед окном.

– Да чтоб у тебя рука уже отсохла! – орет тетя Валя.

На крики тети Вали на Олежу уже никто не реагирует. Своих похабников хватает. Заглянут в дверь и кричат:

– Девки, кому спинку намылить, потереть?

Ну, бабы, которые следующие в очереди, их выпихнут, конечно. Но все равно стоишь задом, чтобы прикрыться хоть как-то. И выйти нужно непременно с соседкой, чтобы следую-



щей паре очередь уступить. Тут как уж повезет – если соседке только ополоснуться, то и ты не намылишься толком. Если нормальная, то и подождать может. А еще надо лифчик с трусами простирнуть по-быстрому.

Еще успеть убрать надо – вещи разбросанные в шкаф засунуть, кровать застелить. Потому что сегодня уборщица придет. Вроде бы сегодня. Неделя прошла. Как? Уже неделя? Перед уборщицей обязательно прибрать надо. Попросить полотенце поменять? Или не просить? Самой в тазике простирнуть. Да, в тазике проще. Если соседка не займет. Она если устроит постирушку, то все, тазика не видать. Еще и одеяло забрала – мерзнет. Простыня отдельно, одеяло толстое, тяжелое – отдельно. Под ним только задохнуться. И всю ночь прово-рочаешься. Простыня короткая и шершавая. По телу скребет. Неприятно. Или грудь прикро-ешь, или ноги. Одеяло колючее, аж как током бьет. Под простыней еще ничего, а если ноги оставляешь открытыми, то колет ноги, если грудь – то всю ночь прочешешься. Дверь если открыть, то вечером разгоряченному телу хорошо – ветер обдувает, простыни хватает. К утру же зуб на зуб не попадает. Укрываешься одеялом и задыхаться, чесаться начинаешь. Встаешь мокрая как мышь. Простыня к телу липнет, потом пахнет. А если четыре женщины в комнате, то дышать вовсе нечем. Мужики, как кобели, на запах идут. Дурные совсем становятся. Если еще бухие, то совсем беда.

На пляже хорошо. Только на гальке тяжело лежать. Ходить с непривычки тяжело, а когда камни раскаленные, то бегаешь. Тетки на пляже говорят, что если можешь ходить по гальке, то нервов нет, не осталось совсем, а если прыгаешь да ковыляешь, то есть нервы. Только непонятно, что лучше – когда есть нервы или когда их нет. Тетки разное говорят. Вроде как с нервами – оно лучше, чем совсем без нервов.

Деревянные лежаки у тех, кто в пансионате отдыхает, о таких только мечтать. Да и не пускают на тот пляж посторонних. По буне тоже не пройдешь, не прошмыгнешь. У них там все свое, отдельное, отгороженное от остальных.

Как же хочется на тот пляж. И на лежак деревянный. Только с набережной можно смотреть и завидовать – у женщин такие купальники, о которых даже не мечтать. Где только достают? По распределителям? Какая ж красота! Трусы с низкой талией. Как же хочется такие трусы! И бюстгальтер на ляпочках тонких. Красота!

Вообще много чего хочется. Например, заходить, предъявляя карточку проживающего, в ворота пансионата – там сторож и только по карточкам пропускает. А за забором парк, жить можно, на скамейках в тени сидеть можно, на фонтанчики смотреть и даже сфотографироваться. Там фонтанчик – обнаженная девушка закинула руку за голову, другой прикрывается. Как же хочется вот так же стоять, закинув руку. Но сторож за ворота не пропустит, как ни проси. Там строго. На пляж тоже только по книжкам. Там медсестра стоит, проверяет, зыркает, не прошмыгнешь. Довольствуйся общим пляжем, на котором гальки не видно – все закрыто одеялами, полотенцами, половичками, пледами. Идешь к морю, как канатоходец – тут на голову не наступи, там ноги, здесь дети, чья-то сумка. На носочках пробираешься. А оказавшись в воде, косишь одним глазом – чтобы сумку не украли или из сумки кошелек не вытащили. Не расслабишься.

Сейчас все по-другому. Тяжело принимать новые времена. Галина Васильевна по вечерам думала, что она вроде как современная. А Федор, которому тридцать восемь, никак не может понять, что жизнь другая стала, совсем другая. Ильич, кажется, принимает, но внутри тоже сопротивляется. Галина Васильевна мягче, пластичнее оказалась. Женщины, они вообще пластичнее мужчин.

Галине Васильевне нравились новые порядки. О многом ей Светка рассказала, объяснила. Что если деньги на кровати оставляют, то это чаевые, можно брать.

– Как же брать? – ахнула Галина Васильевна. – Скажут, что украла!

– Украла, если из сумки. А если на кровати – то специально оставили. Правила такие, – хмыкнула Светка.

Галина Васильевна тоже стала брать, но отработывала – лишний раз полотенца меняла, вне графика. Пол подтирала в ванной. Постель заправляла. Ей не сложно, а людям приятно. Иногда и больше оставляли. Галина Васильевна сначала брала с опаской и ночь не спала – а вдруг обвинят в краже? Вдруг не для нее оставили, а забыли? Но отдыхающие благодарили, улыбались, кивали при встрече. Светка оказалась права. Галина Васильевна вдруг стала хорошо зарабатывать – чаевые с кроватей превышали официальную премию. Галя не тратила, откладывала. Светке на институт, на другую жизнь. Та все, что зарабатывала, спускала на шмотки, косметику. Трусы, лифчики. Галя не возражала – пусть покупает, когда еще такие трусы носить? Сейчас, пока молодая, самое время. Что ни напяль – все хорошо. Шортики, чтобы половина попы торчала. Лифчики кружевные, из-под халата выглядывающие.

Галя смотрела на дочь и восхищалась – такая красotka выросла. От нее ничего. Все от отца перешло. Тонкая, длинная, худющая, с грудью, но без живота. С ногами, но без бедер. Кукла. Как есть кукла. И лицо кукольное – глазки, губки, бровки. Все при ней. Галя поглядывала на дочь и чуть не плакала – как же быть с такой красотой? Как же Светке тяжело будет жить в таком красивом теле. Как же за нее страшно становится. Люди с виду-то все приличные, а если маньяк какой сыщется? Светка, конечно, местная, с пацанами выросла, отпор любому дать может, а если влюбится и в обещания поверит? Молодая, вроде умная, на людей разных насмотрелась, навидалась всякого. Местные девки вообще раньше округляются, оформляются, взрослеют. Их ни видом мужских гениталий не удивишь, ни пьяной дракой не испугаешь. Они даже дозу алкоголя в крови лучше гаишников по глазам, по походке считывают. А уж если приставать кто начнет, так эти девахи так отошлют, что уши в трубочку свернутся. Местным девкам палец в рот не клади – по локоть откусят. Матерятся, как пьяный боцман, – у них лучшие учителя с раннего детства. Светка, например, и катер водить умеет, и пришвартовать может, и морской узел любой вяжет. А уж чем утихомирить буйного, как ударить, куда ударить – с малолетства выучила. Сколько драк видела. Да и одноклассники ее бывшие – местная шпана – в обиду не дадут. Светка бесстрашная, наглая. Но что она видела, кроме их пансионата, набережной да городка, бывшего поселка? Ничего. В большом городе другие нравы, другие навыки нужны. Уж Галина Васильевна-то знает, только Светке не говорит. И не собирается рассказывать.

Светке же обрыдло тут все. Опостылело. Она птица другого полета. Галина Васильевна – как местный баклан. Каркает, на окно столовой прилетает, чтобы кинули кусок. Неважно чего – то блин со сгущенкой попадется, то ошметки рыбы, то недоеденный хлеб. Галина Васильевна всему рада, все сглотнет, съест. Светка другая. С детства было понятно. Лучше голодная останется, чем съесть то, что не любит. С характером. Не переломишь, не согнешь. Галя тоже такой была. Давно, в позапрошлой жизни. Но об этом позже. Или лучше вообще никогда – Галина Васильевна не любит то время вспоминать. Светка, когда в подростковый возраст вошла, рыться начала в бумагах да в старых фотокарточках, что в пакете лежали в дальнем ящике. Стала приставать с расспросами. Гале аж поплохело. Вот как рассказывать? С чего начинать? Да лучше и не начинать вовсе. Жизнь была другой, теперь такая, новая, а что завтра будет – неизвестно. День прошел – и слава богу. Завтра поглядим. Ох, вильнет хвостом Светка. Таким хвостом грех не вилять. Лишь бы не больно потом прижало. А то Галя знает, как прижимает.

– Галка! Ты ж грамотная, скажи, что я писать должна? Говорят, «бурак» сейчас не пишут! А шо пишут? Шо, бурак уже переименовали, как улицу Ленина? Так шо им бурак сделал? – Из дверей столовой вышла тетя Валя. Хотя она теперь, скорее, баба Валя. Тоже из стареньких. Сорок лет в этой столовке простояла. Вся жизнь между кастрюлями да подносами. Олежа ее

рукоблудный женился, уже двоих детей народил. Жена его тоже Олежей называет. Тетя Валя невестку недолюбливает. Вроде как прицепиться не к чему. Детей рождает да еще и готовить умеет. Сама толстая, так и мужа раскормила так, что у того уже и живот висит, из трусов вываливается, и сиськи уверенного второго размера. Печет, стряпает она не хуже тети Вали, а то и лучше. Рассольник варит такой, что свекровь чуть не плачет от злости и зависти. А ведь тетя Валя пищевой технолог по образованию.

– Напиши, свекла, – отвечает Галя.

– А краснокочанка тогда шо? – спрашивает тетя Валя.

– Напиши «краснокочанная капуста».

– А так не понятно? – удивляется тетя Валя.

– Может, кому и не понятно. Люди из разных городов приезжают.

– И шо? Они дебилы? Спрашивают, а нототения – это шо? Свежая? Да, конечно! С утра выловила! И окунь морской тоже утрешний! Кура жареная, они не понимают!

– Напиши «курица»...

– Всю жизнь была кура!

– Как Лиза?

– Ох, не говори мне за Лизу! Знаешь, что она стала делать? Полпорции пробивать!

– Детям полпорции берут. Они же все равно не съедают.

– Никогда не было полпорции! Как я готовить должна? Как рассчитывать продукты? А подносы у них руки отсохнут отнести? Лиза теперь по залу бегает – подносы собирает.

– Люди отдыхать приехали. Они к ресторанам привыкли.

– Так и пусть чешут в ресторан! А то припрутся в столовую – русским языком написано «Столовая», а хотят, чтобы как в ресторане. Так пусть уже выбирают!

– Лиза больше не плачет?

– Да ей поплакать, как поссать! Ты же знаешь!

Помимо Олежи, у тети Вали имелась дочь Лиза. Старшая. Но вот ведь какое дело. Тетя Валя по своей конституции имела на теле бугры, ухабы и склоны, так сказать, равномерно распределенные. Бугорок на шее – отложение солей, – ставший с возрастом плотным горбиком. Бугры вокруг лифчика – тетя Валя утягивалась, грудь неизменно вываливалась. Уверенные холмы на поясице. Живот – отдельная возвышенность. Ну и ноги, как без них. Над коленными чашечками – холмистая местность. А выше – горы да пригорки.

Лиза сидела за кассой и, надо признать, привлекала внимание. Худенькая сверху, шейка длинная, лицо тоже длинное, ключицы торчат, грудь неразвита. Любители такого типажа от Лизы млели и лишний раз прохаживались к кассе – хлеб отбить или стакан узвара.

– Галя, что писать вместо узвара? – кричала тетя Валя. – Они дебилы! Не понимают!

– Компот из сухофруктов, – отвечала Галя.

Каждый сезон у Лизы объявлялся поклонник, который ходил, отбивал, шутил, пил литрами компот и наконец осмеливался спросить, что Лиза делает вечером, после восьми, когда закрывается столовая. И Лиза отвечала, что ничего, свободна. Поклонник звал на прогулку и договаривался ждать после восьми. Прямо сегодня. Но это в лучшем случае. А в худшем – Лиза приподнималась из-за своей кассы за салфеткой или еще за чем, и обнаруживался тяжелый, огромный низ. Все бугры, которые у тети Вали распределялись равномерно, у Лизы сползали к низу. При тщедушном верхе она имела внушительный, просто неподъемный низ. Огромные бедра, ноги-колонны. Поклонники subtilности тут же прекращали отбивать компот. Ценители другой красоты – пышности, вмятин, бугристостей, каковые тоже встречаются на курортах, Лизу приметить не могли, поскольку она все время сидела за кассой, выставляя напоказ только subtilный свой верх. Из-за этого несправедливого противоречия она оставалась мало того что не замужем, так еще и девицей. Каждый сезон находился подходящий ухажер. Но стоило Лизе предъявить воздыхателю, так сказать, портрет в полный рост, все заканчивалось,

как всегда. Поклонники испарялись, поскольку не понимали, с чем иметь дело – то ли с недоразвитой грудью, то ли с мясистыми бедрами. Лиза плакала.

На следующий сезон она сменила тактику и начала бегать по залу, собирать подносы с грязными тарелками, чтобы уж все сразу стало понятно. Чтобы не было противоречий, разочарований и недосказанности. Чтобы все было видно и понятно. Но эксперимент не удался – даже того жалкого числа поклонников, какое было в прежние годы, не сыскалось. Любители пышности, как выяснилось, любили ее во всех местах, а не только от пояса и ниже. А выше Лизе предъявить было нечего.

Тетя Валя очень хотела, чтобы Лиза вышла замуж. Дочь тоже очень хотела замуж. Но никто не хотел Лизу замуж.

– Галя, они дебилы! Они не понимают «разносы»! – возмущалась очередным утром тетя Валя.

– Подносы, под-но-сы, – смеялась Галя.

– Это под нос, что ли, ставить? А может, подносить? – кипятилась тетя Валя. – Разносы – значит разносить. Или нет?

Пока тетя Валя билась над значением слов и неудавшейся личной жизнью дочери, пока Галя думала о Светке, пока о Светке же, но в другом ключе думал Федор, Ильич тоже маялся без сна. В последнее время появилась такая напасть – бессонница. Раньше Ильич и знать не знал про бессонницу, про невозможность уснуть. Ложился он всегда ровно в одиннадцать, вставал в шесть без всякого будильника – срабатывала многолетняя привычка. А сейчас что? В одиннадцать зажигались фонари в ресторане внизу на набережной, и свет падал прямо в окно номера Ильича. Номера, потому что Ильич давно перебрался в пансионат. Как и Галина Васильевна, как Настя. Для них пансионат стал домом, а не местом работы. Может, в этом было все дело. Они считали, что отдыхающие приехали к ним лично, в их дом, как дальние, нелюбимые и, естественно, неблагодарные родственники. Троюродная тетка, например, которую и в глаза то раньше никто не видел. А нужно встретить, обеспечить чистым полотенцем и терпеть, улыбаться, пока тетка не уедет. Не прогонишь ведь. А она обязательно сорвет держатель туалетной бумаги, разобьет тарелку или чашку, испачкает полотенце краской для волос и разбросает свои вещи по всему дому. А ты молчи, убирай и слова не скажи. Ильич часто думал, что не стоило сюда переселяться, даже ради удобства и экономии, даже ради того, чтобы пансионат жил не только одним корпусом, а всеми этажами, в том числе нижними, подсобными. Но об этом тоже потом.

А пока Ильич лежал без сна, прикрывая ладонью глаза от слепящего луча фонаря. Что ж, люди гуляют, отдыхают, их понять можно. Ресторан тоже должен работать и зазывать клиентов. На фонари и свет отдыхающие слетаются.

Была бы рядом с Ильичом женщина, Галина или какая другая, так давно бы встала, ругаясь, занавесила окно поплотнее, шторку лишнюю прицепила, придумала что-нибудь. Только не будет у Ильича ни Гали, ни какой другой женщины. Потому как опоздал он. С Галей точно. Они уже давно все пережили.

Он повернулся на другой бок, но фонарь добивал до стены. Ильич подумал, что завтра все-таки попросит Галю повесить лишнюю занавеску. Она придет, не откажет. Ни разу не отказывала, если Ильич просил. И Славик обрадуется. Он всегда радуется, когда Галя «в гости» приходит. Хотя ведь знает, что она тут, рядом, в соседнем номере. Но даже если так, то все равно в гости.

Ильич слышал, что Галя тоже не спит – окно открыла, потом прикрыла. Ходит по номеру. Может, прямо сейчас пойти, позвать? Но он знал, что не пойдет. Ни сейчас, ни завтра утром. Все равно нельзя. Все в прошлом, в другой жизни. В той, о которой и вспоминать не хочется.

Виктор Ильич, Ильич, всю жизнь прожил в этом поселке городского типа. Раньше – просто поселке, а теперь поселке «типа». Родился, правда, в городе – мать по серпантину везли, ели успели. Мать после родов даже в город не ездила – боялась серпантина до истерики. Ее тошнить начинало от одной мысли о дороге. Думали, пройдет, но не прошло. На машинах, хоть на каких, мать ездить отказывалась наотрез. Единственный вид транспорта, который она признавала, – троллейбус. На троллейбусе могла доехать до соседнего поселка, но все равно возвращалась бледная и еще целый день после поездки лежала пластом. Ильич-то с детства гонял – на мопеде, на старом «жигуленке». Дорогу знал с закрытыми глазами.

Времена изменились, дорогу новую сделали, а про фонари никто и не вспомнил. Местным-то водилам хоть бы хны – освещенная дорога или нет. А заезжие, которые на своих машинах из Москвы добираются, по ночной дороге сразу всем богам начинают молиться. Троллейбус как ходил, так и ходит. Вот уж чего новое время не коснулось.

Все пацаны из поселка мечтали уехать, уплыть, хоть куда. Половина одноклассников в мореходку сбежала. Кто-то в город, кто-то еще дальше. Ильич же никуда не рвался, не было у него таких мыслей. Ему нравилось здесь жить. Нравилось, что зимой поселок будто вымирал, оставались только свои, местные. И жизнь вроде как замедлялась. Чтобы весной, с мая, начать новый виток. Ильич любил жить от сезона к сезону с коротким перерывом на абсолютное затишье. Ему не становилось грустно. Он не страдал от промозглого ветра, который шарашил с моря. Ходил по пустой набережной, и ему нравилось, что она пустая, а поселок становился совсем другим. Настоящим. Без косметики, без фонарей, без грохочущей музыки.

Поселок напоминал женщин, которые приезжали на курорт и одну-две недели жили как в последний раз. Женщины перед поездкой выгребали шкафы, примеряли, отбрасывали ненужное, немодное. Срочно покупались обновки. Женщины укладывали в чемоданы лучшее белье, лучшие туфли и сразу все платья. И обязательно перед поездкой нужно было пойти в парикмахерскую – маникюр, педикюр, покрасить пробившуюся седину. Уже на отдыхе каждый вечер молодые девушки, женщины, замужние, разведенные наводили красоту, чтобы появились и ресницы, и губы, и идеальные локоны. Каблуки, летящие сарафаны...

Чтобы что? Это ж не отдых. Сплошное мучение. Отдых – это когда босиком по траве, без грамма косметики, волосы в пучок и зубы можно почистить к обеду. И можно надеть летний халат или даже сарафан, но никакого бюстгалтера. И плевать на то, что грудь повиснет. Пусть виснет. А здесь, у моря, – это же не отдых, а работа: нарядиться, накраситься, утянуться и выйти. Идти красиво, пока не начнет ныть выпирающая косточка. А сидеть за столиком ресторана нога на ногу, покачивая носком лишь слегка, не думая о том, что ноги от жары распухли, отекли и туфли превратились в испанский сапожок – впились. Очень хочется в туалет, но как представишь, что надо встать в этих туфлях и доковылять со второго этажа – столик-то с панорамным видом, над морем, так лучше уж потерпеть, пока терпится. После ресторана еще домой ковылять, но можно сбросить туфли и пойти голыми ногами. Такое счастье. Когда девушки улыбаются, держа в руках босоножки, это они радуются, что ноги отдыхают. Поэтому на фотографиях такое неприкрытое и искреннее счастье. И во взгляде вовсе не призыв и истома, а облегчение.

Так и поселок. Перед сезоном начиналась генеральная уборка – старые стулья выбрасывались, те, что еще ничего, мылись. Рестораны обновляли вывески, развешивали новогодние лампочки-гирлянды. Появлялись или новые скатерти, или посуда. А когда бархатный сезон заканчивался, поселок с облегчением сбрасывал ненавистную обувь. Лампочки перегорали, стулья сваливались в кучу, все запиралось, закрывалось. И становилось тихо, удивительно тихо. Ильич любил это время тишины. Когда только шум моря, крики чаек и все. Галя всегда страдала. Говорила, что с ума сходит от тишины. Ей нужны были люди рядом, разговоры, толкотня, звуки. Чтобы плакали и канючили дети, ругались мужчины, смеялись женщины. Ей нужна была



жизнь вокруг. А Ильичу жизнь была не нужна. Он уже прожил свою. Так, что и вспоминать не хочется.

Они с Галей были разными. Галя – деятельная, активная, не могла без дела сидеть совсем. Ильич же мог часы проводить на террасе пансионата, в одиночестве, попить чутка водочки и смотреть на море. Это было его счастьем, настоящей жизнью. И сезоны он переживал с мыслями и мечтами о том, как сядет на террасе, уже похолодает, а ему будет хорошо. И только шум моря. Никаких посторонних звуков. Особенно голосов. Пусть лучше чайки орут нестерпимо, а они начинают орать как полоумные именно в то время, когда отдыхающие уезжают. Чайки, лишенные дармовой еды, бросовых кусков, возмущаются, требуют, скандалят.

Ильичу давно ничего не было нужно. Ни для себя, ни для Гали, ни для пансионата. Он устал и ничего не хотел. Впрочем, он еще в молодости ничего не хотел, не было у него планов перевернуть мир, стать космонавтом. У него вообще не было никаких планов на собственную жизнь. Так уж сложилось, что жизнь за него все решала. Как могла, так и решала.

Настя злилась, считая, что Ильичу «все до лампочки», что он «тряпка», а не начальник, что уже пора треснуть кулаком по столу и попросить, добиться, потребовать. Что потребовать – неважно. Да хоть денег на ремонт. У кого? Да у Министерства культуры, раз они – Дом творчества. Но Ильич не собирался никуда ездить, довольствуясь бюджетом, который им спускали. И на том спасибо. Сами крутились как могли. Конечно, надо бы больше, лучше, быстрее, выше, сильнее. Но сил нет. Совсем. И взять неоткуда. Ильич в свои пятьдесят с небольшим был смертельно уставшим человеком. Старым, никому не нужным мужчиной, который хотел только одного – чтобы его оставили в покое, чтобы он мог сидеть на террасе, смотреть на море и пить водочку. И никого рядом. Даже Гали, если уж на то пошло. Нет сил даже занавеску задвинуть, не то что на Галю.

Галина Васильевна в своем номере тоже лежала без сна. Уже и капли пила, и чай заваривала. Она слышала, как ворочается на кровати Ильич. Даже думала постучаться, зайти, спросить, все ли в порядке? А вдруг сердце? У мужчин этот возраст очень опасный. Хотя у мужчин любой возраст считается опасным. И сорок, и шестьдесят. Мужчины, они все время в зоне риска. Галина Васильевна встала, открыла окно, легла, снова встала и окно закрыла. Ильича жалко. Она его понимает, как никто. Раньше он другим был, а в последнее время совсем сдавать стал. Она-то помнит его прежнего. Очень хорошо помнит. Настя говорила, что Ильич «тряпка». Нет, не тряпка. Просто напуган. Так сильно, что хватило на всю жизнь.

Да все они пуганные-перепуганные. И что теперь? Ложись да помирай? Молись, чтобы хуже не стало? Хуже уже было. Так чего бояться-то? Галина Васильевна снова встала и открыла окно. За себя не страшно, ничуть. А вот за Светку – до одури. Такой страх берет, что в глазах темнеет. А вдруг и Светку жизнь обломает через колено, как ее и Ильича? А вдруг дочь кто-нибудь обидит? Да так, что нестерпимо станет болеть, болеть, не проходя? Вдруг здесь застрянет и будет видеть только грязные унитазы? Ведь затягивает, зараза, этот пансионат, эта жизнь. Как Настя говорит: «Если никуда не ходить, то ничего и не случится». Поэтому Настя и урывает каждый час, каждый вечер. Что может, то и берет. А Светка? Что лучше для нее? Здесь остаться, выйти замуж за Ваську, который со второго класса по ней сохнет. Сейчас в мореходке. Но обещал вернуться и жениться. Или за Толика, который дайвинг-центр открыл? Да какой там дайвинг? Спасибо, что не утоп еще никто. Ехать по серпантину рожать в город, водить ребенка в местный единственный детский сад, а потом с собой на работу. Отправлять к тете Вале, чтобы покормила. Нет, Галя сама такая была, все проходила. И Светке такой судьбы не желала. Пусть лучше мечтает, влюбляется, едет учиться куда угодно. Лишь бы не здесь. Пусть лучше свой собственный унитаз моет, чем чужие. Но Светке поди скажи слово поперек. Что у нее в голове? Вот как тут не переживать?

Да еще Ильич ей потакает. Она чуть что – к нему. А что ей Ильич скажет? Он и рад, что Светка рядом. Она и Славик.

Ильич снова повернулся на правый бок. Кто там сейчас хозяин ресторана? Сходить, что ли, попросить, чтобы прожектор в другую сторону развернули? Жаль, Артур уехал – это ж его бывший ресторан. С Артуром они выросли вместе. Чего только не пережили. Еще пацанами с буны прыгали, трусы теряя. Артур, по слухам, в Москве хорошо устроился – автосервис открыл или даже два. Может, врут, а может, и правда. Потом Руслан появился на два сезона, но тоже исчез. Куда, не понятно. Кто там сейчас? Надо у Гали спросить – она всех знает. Он-то давно на набережной не был. А что там делать? Да, все меняется, но что-то остается неизменным. Набережная. В сезон отдыхающие по набережной двумя потоками ходят, согласно правилам дорожного движения. Те, кто вниз, – справа, кто вверх – слева. Хотя с какой стороны смотреть, конечно. Говорят, что в московском метро в час пик такая же толчея, как у них на набережной. А все равно идут, гуляют. Нарядные, дети умытые и причесанные. Будто днем не те же дети носились с грязными ногами, а женщины шли, едва прикрытые. И будто совсем другие мужчины оттягивали пальцем давящие плавки. Будто совершенно иные люди сейчас заказывали вино, усаживались за столики с белыми скатертями, придирчиво рассматривая меню. Что? Есть на пляже мелких креветок, запивая теплым пивом? Да как можно! Нет, нет, это другие мужчины ковырялись в зубах, сплевывая застрявший креветочный хвост, и рыли подкоп в воде, чтобы положить бутылку остудиться. И, конечно же, не эти избалованные красавицы еще несколько часов назад стряхивали с груди чебуреки – горячий, масляный, жирный, острый – и пили пиво прямо из горла.

Девчушка в белом платье в пол, с накрученными плойкой локонами, идет чинно, тщательно копируя мать. А ведь вот только что сидела, обмазанная шоколадным мороженым с ног до головы. Кусок мороженого упал на гальку, вывалившись из вафли, и девчонка устроила рев на весь пляж. Мать пыталась загнать ее помыться в море, но дочь требовала новое мороженое. Как до этого клянчила вафельные трубочки со сгущенкой, газировку, вареную кукурузу и все, что носили по пляжу. Сейчас она шла ужинать, как взрослая. Да она столько за день слопала, что не понятно, куда в нее еще влезет. Будет опять есть мороженое, мамаша разрешит.

Ильич прикрыл рукой глаза. Он вспомнил Артура. Интересно на него сейчас посмотреть. Наверное, живот наел, постарел, заматерел. Такой же заводила или остепенился? Сюда не приезжает, как отрезало. Если бы приехал, Галя бы знала. Или приезжал, а Галя Ильичу не сказала? Такое тоже возможно. Тогда, в детстве, в юности, казалось, что это самое море – по колено. Что так будет всегда – море, солнце, буна, отдыхающие и они, местные. Чебуреки, которые жарила бабушка Ануш, самые вкусные. На том месте, где стояла бабушка Ануш, теперь палатка-чебуречная. Другие люди давно работают, а чебуреки все равно лучшие в поселке. Туда всегда очередь. Галя как-то принесла Ильичу, нахваливала. Ильич попробовал и не стал доедать – не тот вкус, не те специи. А Славик съел сразу три. Ильич расстроился. Даже чебуреки нормальные никто сделать не может. Никто не знает, какие должны быть настоящие.

Но все равно что-то оставалось неизменным. Местные пацаны да и взрослые ходили на дикий пляж, там, где на всех воротах объявления густо развешаны: купаться запрещено, пляж не подходит для купания, проход в техническую зону запрещен. Но это все для туристов. Те на благоустроенные пляжи ходят, где для них дорожки к морю деревянные выложены, чтобы, не дай бог, не по гальке идти, лежаки. Сейчас пластмассовые появились, высокие. Да еще и с матрасом сверху, для мягкости. И зонтики, как же без зонтиков. На одном пляже деревянный настил соорудили и столики поставили. Для детей отдельно песок насыпали и игрушек набросали, чтобы малышня в грязном песке возилась и не мешала родителям загорать, выпивать и закусывать прямо здесь же. Но культурно. Одноразовые тарелки на столик можно пристроить, спинку лежака поднять повыше для удобства.

На соседнем пляже тоже не отставали. Зонты были попроще, а лежаки не хуже. Одна беда – от порывов ветра зонты уносило, хоть врывай их в гальку, хоть не врывай. И камнями придавливай не придавливай со всех сторон, все равно улетят. На голову соседям. Сложатся в обратную сторону, и все. Лежит себе дамочка, и вдруг ей прилетает прямо на голову зонтик, да еще и сложенный в другую сторону. Дамочка кричит, конечно же.

Правильно Федор говорит – «тут вам не Европа, хотите, как там, так туда и ехайте». А тут другие порядки. Местные.

На пляжах каждый день конфликт. Приходит, например, мамочка с ребенком. Берет лежак с зонтиком. Ей нужен один, а лежаки сдвинуты по два. Андрюха, который на этом пляже зарабатывает, оттаскивает лежак на пару сантиметров от соседнего, честно врывая зонтик в землю, чтобы образовать тень, и уходит, забирая свои сто двадцать рублей. Только мамочка успевает расположиться в тенечке, как вокруг, на гальке, немедленно появляются несколько полотенец. На халявную тень обычно набегают шустрые бабули с внуками. Дети немедленно начинают дружить, драться машинками, делить игрушки. И мамаша, которая хозяйка тени, то есть зонтика, хмурит лоб – то ли отогнать бабулю, которая расположилась так, что с лежака ногу не спустишь, а если спустишь, то аккуратно пяткой на бабулино лицо. То ли смириться, раз дети уже играют. Мамаши обычно молчат, терпят. Но тут прибегает еще одна бабуля и занимает место на гальке рядом с первой, там, где оставался крошечный островок тени.

– Женщина, ну вы вообще, – теряет терпение мамаша.

– Вам чё, тени жалко, что ли? – возмущается бабуля.

И тут мамаша снова впадает в ступор от размышлений. С одной стороны, конечно, не жалко. Тем более для бабули с ребенком. С другой стороны, конечно, жалко. Возьмите свой зонтик и лежите сколько хотите.

Бабули же, расположившись, начинают дружить и обмениваться едой. Детей усаживают на лежак мамочки, которая уже сидит, а не лежит, чтобы не мешать детям, и начинают кормить. Кормят не только своих, но и ребенка мамочки, у которого аллергия на все. И мамочка жалобно возражает. Но ее ребенок уже сидит с булкой во рту и заедает все это куском арбуза, например. Или конфетой. Или крабовой палочкой. Мамочка бы и упала в обморок, но некуда – она со всех сторон стиснута детьми и бабулями.

– Иди, макнись, мы присмотрим, – тут же предлагают бабули, и мамочка с облегчением идет «макаться», гадая, что еще попадет в рот ее ребенку за то время, что она отсутствует.

Потом бабули настоятельно отправляют мамочку в туалет, до которого бежать по набережной. А там очередь. Вход – пятнадцать рублей, а у мамочки сотня, допустим. И она бежит в соседнее кафе, чтобы разменять. И когда добегают до туалета, ей уже все равно. Она уже думает о том, что могла бы и в море пописать, как советовали бабули детям. Назад она несется как полоумная, представляя себе самые страшные картины. Но, что удивительно, находит собственного ребенка в полном порядке и совершенно счастливого. На ее лежаке устроилась одна из бабуль, а дети сидят у кромки воды. Их периодически накрывает волной, они отплеиваются, но довольны. Соседняя бабуля раскладывает на полотенце пасьянс. Именно поэтому дети отсажены в море, чтобы не мешать бабуле с пасьянсом. За детьми никто не смотрит – обе бабушки глядят в карты: пасьянс не складывается. Поскольку мамочка не знает, как согнать бабулю с собственного оплаченного лежака, ведь не станешь ругаться с человеком, который кормил твоего ребенка и присматривал за ним, бедная женщина идет в море плавать.

В половине двенадцатого она с облегчением собирает сумку и уходит с пляжа. Ребенок плачет. Он не понимает, почему они уходят, а другие дети остаются. На лежаке уже расположилась бабуля, засунув сумку с продуктами под спинку – там самая тень. И мамочка уже знает, что, когда вернется на пляж в четыре часа, после дневного сна, Андрюха будет искать ей новый лежак, потому как ее лежак уже ветром сдуло, как и зонтик.

Но даже если не появляются бабули, по соседству, то есть на лежаке, который стоит в пяти сантиметрах, укладывается другая женщина. И, естественно, она оказывается разговорчивой. Мамочка будет терпеливо слушать рассказы о муже, свекрови, старшем сыне, девушке старшего сына, матери девушки старшего сына, скорой свадьбе, не дай бог беременности, не приведи господь муже, которому все равно, и снова о матери девушки сына, потенциальной сватье, которая звонила и скандалила... и так далее.

Через два дня мамочка будет покорно покупать вафельную трубочку со сгущенкой, которую просит ребенок, и, к собственному ужасу, ее доедать. На четвертый день она будет играть с бабулями в подкидного. Потому что человеческая психика подвижна, а психика мамочки с ребенком тем более.

На дикий пляж ходят только свои. Местные, друзья и родственники местных. Но, бывает, и отдыхающие появляются. Проход под бунной отгорожен сеткой, только там с незапамятных времен в сетке дыра. И все через дыру проходят, «лазют». Или по камням с парашюта спускаются. Камни будто специально лесенкой выложены. Но это знать надо, где именно такие камни. На диком пляже и галька мельче, и вода чище. Никаких буйков.

На этом пляже прошло детство Ильича и Славика. Как и детство Светки. Только Галино детство не здесь прошло. Она, когда выходной выдается, на пансионатский пляж ходит. И плывет строго до буйков, не дальше. Не любит дикий.

А там хорошо. Совсем близко к берегу торчит камень. С него малышня прыгать учится. Мелко, по пояс, самое оно. Ногами дно достанешь, оттолкнешься. Камень небольшой, скользкий, но все очередь соблюдают, никто не толкается. Только если замешкаешься, могут подтолкнуть или прыгнуть сверху, «притопить». Ногу об камень расцарапаешь, вперед быстрее думать будешь, ловчее забираться. А скоро нога сама выемки знакомые находить будет безошибочно. Быстро выныривай и отплывай, дай следующему прыгнуть. А притопят, так нахлебаешься. Первые уроки выживания, социальной адаптации здесь, на этом камне, проходят. Есть и свои правила – малышне руку дать, на камень подтянуть. Подождать, пока вынырнут и отгребут по собаčky. Иногда, правда, на мелкий камень взрослые ребята приходят. Дурачатся, ныряют на мелкоте. Лучше не лезть – зашибут. А если полез, то шуруй быстрее – соответствуй. А если не соответствуешь, то тебя учить начнут. Поднимут высоко – ребята здоровые, уже волосатые во всех местах, – раскатают и швырнут подальше. А ты летишь и думаешь, что лишь бы не пузом. Пузом больнее всего приземляться на воду. Вот и сворачиваешься в воздухе в спасительную «бомбочку» – жопой падать не так страшно. Да, про жопу-то забыли рассказать. «Жопа» – это тоже название прыжка. Но за него старшие тоже могут раскатать и выкинуть. Жопа – это когда трусы снимаешь, причем белым задом к пляжу, ко всей публике, никак не по-другому, и прыгаешь, а в полете надо успеть себя шлепнуть по голому задку. Жопа – это весело. Все гогочут. Особенно если трусы в приземлении до щиколоток спадут, а то и вовсе свалются. И выскакиваешь из воды – там же мелкотня – со всеми причиндалами наружу. А потом ныряешь и трусы ищешь по дну. Опять же старшие могут трусы словить и смотреть, как ты по дну ползаешь.

Местный дресс-код тоже все соблюдают. Плавки есть у всех – эка невидаль. Но плавки – для отдыхающих мужиков. Местные все в семейниках. Еще раз прав Федор, повторявший как мантру: «Здесь вам не Европа». В Европе нашего мужика сразу узнаешь – по плавкам, в которых он по пляжу рассекает. Европейцы аж слюной поперхиваются от возмущения – неприлично ведь вот так, чтобы все богатство видно. Есть же купальные шорты. Да что про них говорить? Они девочек маленьких, по слухам, даже двухлетних, в купальники наряжают, а без купальника – нельзя. Не то что у нас – раздолье. До пяти, а то и шести лет дети голожопые на пляже. А девочки лет до одиннадцати – без верха, только в трусах. И ничё – никто не удивляется. Дети же. Бабули еще сплетничают, что, говорят, там у них, за границей, дети в море в памперсах купаются специальных. Чтобы, не дай бог, не пописало дите в воду. Это ж какой вред! Всем известно, что памперсы вредны – от них у мальчиков бесплодие бывает, потому

что все там перегревается. Так-то. Да и что будет, если дите в море пописает – там же не моча, а, считай, божья роса.

Следующий этап взросления – большой камень, который в море. Это не камень вовсе, а кусок то ли бывшего причала, то ли еще чего. Там есть ручки – забираться удобно. Не так скользко – водоросли мягкие, как трава. И уже оттудова можно рыбкой тренироваться. Глубоко, дна не достать. Камень не высокий, если даже животом приземлишься, не больно. Прыгаешь, пока желудок не отобьешь. Но рыбкой не хочется. А хочется «бомбочкой», «солдати́ком» или «скелетиком». Или высший пилотаж – сальто в воздухе скрутить, корявое, конечно, но все же. Малышня тоже на большой камень побыстрее рвется, но всему свое время. Дорости сначала надо. Научиться отгребать не по-собачьи, а кролем. Девчонки еще ладно, могут и по-девчачьи отплывать, а с пацанов спрос строгий – плыви нормально, как мужик. Гребки делай. Пока не научишься, старшие на камень не пустят. Тут тоже своя этика. Заплывать с глубины, там удобнее, камень пологий. И не мешать тем, кто уже стоит, прыгать готовится. Когда волны, забираться тяжело. Волна подбрасывает, на камень закидывает и снова уносит в море. Не успел зацепиться, тебе ручкой машут «до свидания». С камня отдыхающие любят прыгать. Но тоже сразу понимают порядок. Если камень местные занимают, то не лезь, жди, когда освободится. А если отдыхающие набегают – с детьми или парни с дамочками накрашенными, то местные тоже не лезут. Пока мужики с камня сигают, выпендриваются, дамочки стоят, смотрят, улыбаются, а сами сползают в воду аккуратненько, задницей, чтобы не макнуться и тушь не размазать.

Ну и, наконец, буна. Та, к которой теплоходы пристаю́т. Технический ведь пляж. С буны лет с десяти прыгают. Иногда и раньше. Здесь называется буна, а приезжие называют волнорез или пирс. Русским же языком написано краской: «С буны прыгать запрещено».

Мальчишки сига́ют гроздьями, поднимаются по здоровенным шинам, которые по бокам буны прикреплены для теплоходов. Вынырнуть, подцепиться, подтянуться. Сначала одна нога, потом другая, опять подтягиваешься. Вылезает. И тут же снова вниз. «Рыбкой» никто не прыгает. Тут в воздухе такие кренделя можно наvertеть – ногу выставить, ручкой помахать, руки на груди сложить, будто умер. То есть «скелетиком». Каждый как может изощряется. И снова, в порядке общей очереди, на шину, подтянуться, вторая нога, снова подтянуться. Здесь уже без церемоний – силенок не хватает, пшел вон, скинут с колеса – иди тренируйся. Ногу не можешь задрать – снова пшел вон. Пихнут, скинут. Если без очереди влезешь, притопят так, что мало не покажется. Отплевываться замучаешься. Но есть правило – никто с буны не сбрасывает. Не по правилам. С шины могут, если за дело, но не с буны. Кодекс чести.

Но и это еще так, баловство. Вот с перил буны сигануть – это уже что-то. Высоко, страшно. Дно точно ногами достанешь, хотя глубоко. Только солдати́ком, по-другому никак. Войти мягко, чтобы пятки не отбить. Пятки, оказывается, больше отбивать, чем живот. Так что кренделя выписывай в воздухе, а в последний момент успе́й сгруппироваться – руки по швам, ноги ровные. Только так можно в воду входить. Но пацаны помогут. Рядом двое в воде дежурят, если что – нырнут и вытащат. Потом те, кто уже прыгнул, дежурят, и так по очереди.

Но следующий трюк самый восхитительный. Это тебе не с буны прыгать. И даже не с перил. Нужно дождаться, когда подойдет теплоход, и прицепиться за якоря. Якорей два – с двух сторон. Поэтому и сидюков два. По двое на одном тоже можно, но неудобно, далеко не уплывешь. Теплоход отчаливает, и теперь – кто дольше не сдрейфит. Кто быстрее отпустит руки и спрыгнет, тот проиграл. Далеко не заплывают – капитан все равно орать начнет как полоумный. Прыгаешь с якоря почти в открытое море и гребешь к берегу. Счастье. А еще большее счастье, если работает дядя Коля.

– Дядь Коль, брось! Дядь Коль, брось! – кричат мальчишки.

И дядя Коля бросает в воду швартовочный канат. Мальчишки на него гроздьями цепляются, как обезьяны, и плывут далеко-далеко. С канатом можно далеко. Если дядя Коля выпил, то есть добрый, то долго канат не поднимает. Сидишь на канате, и восторг – даже круче, чем



на бананах и надувных таблетках. Это – для отдыхающих. По-настоящему, чтобы уписаться от восторга, – на канате. Руки обдерешь, пока держишься, ладони горят, потом плывешь до берега, и все равно восторг.

Ильич, едва уснув, снова проснулся – в туалет захотелось. Море приснилось, канат этот, на котором все детство просидел. Пошел в сортир, заглянув к Славику. Он здесь же – в спальне. А Ильич на диванчике. Спит сын. Сейчас хорошо спит, а раньше каждую ночь кричал.

Этот этаж всегда заброшенным стоял. Тот вход, который считался черным и куда Федор дверь насадил на кодовом замке, на самом деле вовсе и не черный. Выходит на террасу, под кипарисы. А настоящий черный вход за каштаном. Маленькая дверка, деревянная, вовсе без всяких замков. Про нее знают только местные дети и обслуживающий персонал. Играют в прятки и прячутся за этой дверью. Никто найти не может. Особенно если местные играют с детьми отдыхающих. Те всегда водами остаются. А местные довольны – за дверь, и нет их. Хоть обыщишь.

Если кто-то из родителей зовет ребенка, а ребенок не откликается, – только что во дворе бегал и вдруг как сквозь землю провалился, – ищи его за каштаном, за дверью деревянной. Ильич, Галина Васильевна, Настя, Федор, Светка сразу идут туда и выводят пропавшего.

– Где же ты был? – восклицает мать или бабушка.

Но дети укрытие не выдают, не раскалываются. Даже столичные, избалованные, молчат как партизаны.

Посторонние сюда не суются – в коридорах темно. Конечно, свет есть. Но надо встать на стремянку и подкрутить лампочку, тогда она зажжется. Когда уходишь, лампочку опять чуть вывинчиваешь. Выключатель тоже есть, только давно сломан. Так что щелкай не щелкай – света не будет. Первые комнаты, которые ближе к выходу, стоят закрытыми. Ильич и сам не помнит, когда заходил сюда в последний раз.

Раньше эти комнаты предназначались для подающих надежды молодых художников, приезжавших на этюды студентов-отличников, победителей конкурсов и прочего талантливого подрастающего поколения. Им доставались самые плохие комнаты – душные, окнами на кухню столовки и мусорку. Да и окна маленькие, узкие. Чтобы молодежь знала свое место, понимала, как труден путь наверх. А наверх – это в хорошие комнаты, с видом – хошь на море, хошь на горы. На море – для членов союзов, конечно же.

Там своя терраса. Огромная, просторная, со стульчиками – белее развешивай, кури, вино пей, видами любуйся. И тихо. Только море и слышно. А в тех номерах, которые с видом на горы, – не уснешь, если трезвый. Окна на площадь выходят, где главный винный магазин поселка, еще одна столовая, два ресторана и единственный проход по лестнице наверх, собственно в сам поселок. Где живут местные, где сдают комнаты частники, где дешевле. Чем выше от набережной, тем цена за комнату ниже. А их пансионат, считай, на самом почетном месте – центральными воротами на набережную, окнами на главную улицу. До винного – минута, до набережной – минута.

Федор любил на эту тему порассуждать. Если отдыхающие жаловались на шум, он строго отчитывал: «Вы хоть понимаете, где живете? Да вы в музее, считай, живете!» И люди умолкали. А ведь и вправду – в музее. «Вам вид на горы? Так пожалуйста». И действительно, из окна выглядываешь – и гора перед тобой. Кто же будет жаловаться, если по этим коридорам ходил, говорят, Шалапин? Может, врут? Еще скажите, что Лермонтов ходил. Или Александр Второй. Или кто там был? Савва Мамонтов! А кто знает? Может, и ходил. Живешь, пытаешься уснуть на жестком матрасе и думаешь, что в те времена и таких матрасов не было. На узких кроватях спали. Вроде как прикоснулся к прекрасному, к искусству. Хоть одним боком. И потом будешь всем знакомым рассказывать, какой необыкновенный дух времени в этом пансионате. Как по-другому начинаешь себя ощущать. Какие мысли приходят в голову. А вдохновение? Да тут

воздух пропитан искусством. Не захочешь, а начнешь писать, творить, сочинять. Особенно по вечерам, когда ветер с моря, когда лунная дорожка прямо перед носом, огни, тени от огромных деревьев и литр вина в желудке. Куда там рука должна тянуться? К холсту, к бумаге? Ну, говоря откровенно, тянется рука к бутылке. Вино пьется легко, литрами, баклажками и канистрами. Как не выпить, когда такой вечер, такой воздух, такое вино – с местных виноградников. Есть и пирожок с вишней на закуску. Пирожок шикарный, вишня аж сочится. Сладкий, сдобный, здоровенный, с ладонь крепкого мужика. Не хочешь сладким закусывать? Так вот пирожок с капустой или мясом.

И вот садишься с мыслью написать непременно целый абзац или сделать набросок и не замечаешь, как бутылки вина уже нет, пирожков тоже, а ты все еще настраиваешься, тарачишься на лунную дорожку.

Номера, те, которые для бывших членов и заслуженных, отремонтировали, как могли. Но бачок все равно в десятом номере течет. Менять надо, чини не чини – толку на день. А как менять? На какие деньги? Галя уже замучила этим бачком. Поменяли, только еще хуже стало – все равно течет. В пятом кран капает. Если повернуть не до конца, то не капает. Но отдыхающие же не знают, как поворачивать.

Внизу, в полуподвальном этаже, где сотрудники обжили комнатухи, никакого вида. Зато и дела до них никому нет. И ремонта нет, и не было еще с тех, позапрошлых, времен. И вот удивительно – не течет ничего. Хоть бы подтекало там, или слив засорился. Умели люди ремонты делать. Нет, не на совесть, за страх – за бочок, неправильно посаженный, и посадить могли. Вот на страхе все до сих пор и держится.

Сюда сначала Ильич перебрался со Славиком, потом Галя комнатку обустроила, чтобы Светка на ночь возвращалась после своих гулянок. Иногда и сама оставалась, когда уставшая сильно была. Да и днем вздремнуть спускалась. Минут на сорок, не больше. Федор тоже угол себе присмотрел. Баб не водил, телевизор смотрел, пиво пил. Настя заняла сначала один номер, а потом и второй присмотрела. К ней то племянница приезжала, то тетка двоюродная. Ильич прекрасно знал, что такого количества родственников у одного человека быть не может. Даже если по всем линиям считать. Настя тайком сдавала комнатуху знакомым, за полцены. Ильич не возражал. Настя не зарывалась. Жильцов подбирала тихих, спокойных, непритязательных. Так все и жили: сдавали и продавали все, что могли, крутились, вертелись. В сезон поработать, в несезон – полопаешь.

По ночам, когда ветер или шторм, кипарисы скрипят. Славик очень кипарисов боялся. Кто уж его напугал – Ильич не знал. Или никто не пугал. Да нет, Ильич сам виноват. Рассказал как-то Славику про эти кипарисы. Вроде увлечь хотел, будто сказку рассказывал, а оно вон как обернулось. Кипарисы эти посадили в позапозапозапрошлые времена. И они, собаки, проросли корнями вниз. Да, их терраса была не самым низом. Под террасой стоял еще один дом, почти у воды, чуть ли не падал в море. Там Катя-дурочка жила. Конура конурой, обветшалый деревянный сарайчик, но с собственным крошечным садом и спуском на пляж. Сарайчик бы подлатать, починить, ему б цены не было. Катя за садом следила. Так у нее целый ботанический сад разросся. Она в растениях все понимала, чувствовала их. Да еще и рука легкая. Даже кипарисы к ней проросли корнями. Катя любила сидеть в саду на колченогом пластмассовом стуле, в зарослях, и смотреть на море. Каждое утро она плавала – прыгала по камням, без всякого страха. Не каждый мальчишка решится вот так по камням скакать, а Катя скакала. Дурочка, одним словом. Как не зашиблась еще? Но дураки, они что пьяные, их судьба бережет.

Ильич-то знал, что Катя дурочкой была не всегда, а была даже очень приличной женщиной, и богатой к тому же. Этот дом ей муж подарил, свадебный подарок сделал. Дом считался хорошим по тем временам, две большие комнаты, кухня, даже участок, который поди обустрой среди камней. Катя с мужем, которого никто никогда не видел, жили в столице. Она

сюда приезжала в сентябре – октябре, в бархатный сезон. Всегда одна, без супруга. Жила тихо, гуляла, плавала, со всеми приветливо здоровалась. Сажала растения, в земле копалась. Плавала подолгу, сигая с камней так, что Ильич, в те времена еще Витек, голову сворачивал. Как и Артур. Как и все остальные пацаны, у которых гормоны уже кипели. Катя красивой была невыносимо, но хоть и считалась местной, своей, держалась обособленно. С тетей Валею вежливо здоровалась, но дружбы не заводила. Несмотря на замужний статус и подходящий возраст, детей у нее не было. Тетя Валя думала, что Катя страдает от невозможности иметь ребенка, и советовала поехать на местные грязи, которые очень даже помогают. Или к местному старцу обратиться. Может, он чего подскажет. Но Катя вежливо благодарила и никуда не ездила.

А однажды явилась и больше не уезжала. Все привыкли к тому, что Катя сама по себе, поэтому никто за ней странностей долго не замечал. Жила она, как всегда: плавала по утрам, здоровалась вежливо. Первой заметила тетя Валя, когда увидела Катю в купальнике и плаще-дождевике. Стояла жара, просто невыносимая, и тетя Валя вышла подышать на террасу. Свесилась с перил и внизу увидела Катю, стоявшую на одном из камней в дождевике.

– Кать, ты че? – не удержалась и спросила тетя Валя.

– Дождь льет, – ответила Катя.

– Да уже три дня как не было.

– Дождь, я люблю дождь. Слышите, капает? И пузыри по воде. Очень красиво. Жаль, я рисовать не умею.

Тетя Валя посмотрела на стоячую и мутную от жары воду, на медуз, которые лежали на воде ковром, на грязь, прибитую к берегу, и покрутила пальцем у виска. Ненормальная.

В следующий раз тетя Валя встретила Катю на площади, около фонтана. Фонтан, надо сказать, никогда не действовал. Построили чашу, выложили мозаикой, слепили дельфина: из его рта должна была струиться вода, а воду не подвели. Потом выяснилось, что подвели, но не туда. Куда – непонятно, но точно не в дельфина. Чтобы переделать, нужно сносить и дельфина, и бассейн, и всю мозаику ко всем чертям. Дельфина оставили. Без воды. С пустой чашей бассейна и открытым ртом или что там у дельфинов вместо рта? Перед дельфином всегда собирались экскурсии. Фонтан, который так и не стал фонтаном, считался местом сборов. Здесь стояли частники, точнее риелторы, которые предлагали туристам комнаты внаем. Тут же располагалась основная точка продажи всего – от карточек на телефон до туалетной бумаги.

Возле фонтана тетя Валя и увидела Катю, которая стояла в купальнике и с чемоданом и смотрела в небо.

– Кать? Ты че? Загораешь? – спросила тетя Валя.

– Самолет задерживается, – ответила та.

– Куда собралась-то? Ты ж в купальнике!

– Решила улететь. Странно, никогда не было так жарко. Цветы гибнут. Всегда же прохладно было. Каждый день цветы гибнут. Не могу на это смотреть.

Стоял июль, для Кати – первый июль здесь.

– Столько людей. Просто толпа. Дышать нечем, – посетовала она.

Тетя Валя оглянулась и на всякий случай посмотрела на часы. Шесть утра. Вокруг – никого. Дышать пока есть чем. Вот к полудню точно задохнешься.

– Кать, рейс задерживается, пойдем, я тебя завтраком накормлю. Может, оденешься? Чё у тебя в чемодане-то?

– Рассада, – ответила Катя, – решила увезти, дома пересадить.

– Пойдем пока со мной. Мы и рассаду пересадим. Самолета сегодня не будет. Пойдем, потихоньку...

Тетя Валя увела Катю в столовую. Положила ей вчерашних сырников и налила чаю. Катя послушно ела. Тетя Валя вытаскивала из чемодана рассаду. На помощь она призвала Галю,

притащившую цветочные горшки и пакет с землей. Пересаживала, поливала. Катя очнулась от крика баклана: тот прилетел и сел на подоконник.

– Который час? – спросила она.

– Половина седьмого, – ответила тетя Валя.

– Что я здесь делаю?

– Сырники ешь.

– Я схожу с ума. Мне плохо. Я не помню, что делала вчера. Не помню, какой сегодня день, – призналась Катя.

– И я не помню. Сезон. Просыпаешься – вроде понедельник, засыпаешь – уже пятница.

Это нормально, – ответила тетя Валя.

Катя спокойно доела сырник.

– У тебя случилось что?

– Случилось? Да, наверное... я пойду, спасибо. Валя? Вас Валентиной ведь зовут?

– Тетей Вале. Я уж лет с тридцати как тетя Валя.

– Тетя Валя... Как красиво, – Катя показала на ростки в кадках, над которыми колдовала Галя.

– Я пересажу и скажу Федору – он к вам перенесет.

– Что? Горшки? Нет, мне не надо...

Тетя Валя, конечно, всем рассказала, что Катя сошла с ума, но ей никто не поверил. Катя, как и прежде, плавала, ходила в красивом платье по набережной, рылась в своем саду, улыбалась. Заходила к тете Вале, кормила кошек остатками еды.

Когда она сошла с ума? Никто точно не помнил, не мог сказать с уверенностью. Тетя Валя считала, что тогда, когда она в дождевике стояла под палящим солнцем. Ильич думал, что позже. После того, как к ней муж приехал.

Муж, которого никто никогда не видел, действительно существовал. Ильич тогда уже жил в пансионате. Как и Галя. Тетя Валя задержалась в столовой, чтобы накрутить фарш на утро. Можно было прийти пораньше, но ей было беспокойно, и она включила мясорубку. Мясорубка ее всегда успокаивала.

Тогда Катя влетела в столовую, прямо на кухню:

– Он меня найдет. Мне надо спрятаться. Куда?

Катя стала стаскивать кастрюли с полок. Смотреть на нее было страшно – бледная, глаза вполлица, руки трясются.

– Пошли, – тут же среагировала тетя Валя и отвела ополоумевшую Катю к Ильичу. Катю оставили в номере Гали. Тетя Валя ей еду носила. Но на третий день Катя не выдержала и вышла. Вернулась домой, где ее ждал муж, и уехала в Москву.

Вернулась она через год. Уже сумасшедшая. Тете Вале, которую Катя узнавала и с которой не боялась разговаривать, она сказала, что ее держали в больнице. Что досочинила тетя Валя, а что на самом деле было правдой, никто не знал.

Тетя Валя рассказывала, что муж был маньяком. Издевался над Катей. Избивал, но точно знал, куда бить. Лицо не трогал. Несколько раз Катя хотела уйти, но не могла – богатый муж оплачивал частный пансионат-клинику, в котором лежала Катина мама. Мама умирала уже четыре года и никак не могла умереть. Она давно не узнавала Катю, только сиделку, которая была к ней приставлена. Но сердце работало. Давление было в норме. Катя терпела мужа ради мамы.

Потом делала аборт, чтобы не рожать. Не желая иметь ничего общего с этим мужчиной. Она ждала, когда мама умрет и можно будет развестись, начать все заново. Но муж не позволял. У него были другие женщины, совсем еще девочки, но Катя была ему нужна как жена, ширма.

Он давал ей передохнуть – отпускал в дом на море, который сам и подарил. Когда она сообщила, что не вернется, взвился, обезумел. Он не привык к отказам. Катя – его собствен-

ность, он был ее хозяином. И только по его воле она могла уехать или остаться. Он ее даже не искал – знал, что сама придет. Их разговор длился меньше минуты – муж сказал, что в этот самый момент ее мать сидит на лавочке во дворе частного пансионата-клиники с собранной сумкой. Она не понимает, почему сидит на лавочке, плачет, потому что замерзла, но к ней никто не подходит. Потому что он прекратил за нее платить. И не заплатит больше ни копейки, если Катя сейчас же не соберет чемодан и не уедет с ним.

Она уехала. Он избил ее сразу, едва они вошли в квартиру. Избил до такого состояния, что сам отвез в больницу. Где она вообще перестала сообщать. Ей давали лекарства – сломанный нос болел. Она думала, что ей дают обезболивающие. И покорно принимала таблетки. Муж приезжал и говорил, что с мамой все хорошо. Даже показал фотографию с датой – мама смотрит в холле телевизор. Там же, в больнице, которая тоже была частной, муж ее изнасиловал. Ей было уже все равно – будет ребенок, не будет. Но случился выкидыш. Кроме «чистки», по живому, без анестезии, на чем настоял муж, она ничего не помнила. Даже того, как уезжала из больницы – не помнила. И почему муж ее вдруг отпустил – не понимала. Но он больше не объявлялся. Может, нашел себе другую жертву. Может, Катя, ставшая буквально за год старой, больной и лысой, стала ему неинтересна.

Ильич не верил в рассказы тети Вали. А Галя верила. И Настя верила.

Катя стала местной сумасшедшей, которую никто не обижал. Катя-дурочка. Наоборот, заботились как могли. Подкармливали, проводывали. Некогда хороший дом превращался в обветшалую конуру. Ильич, когда делал косметический ремонт в номерах, отправлял рабочих и к Кате. Обои в домике переклеили, подкрасили, что могли. Но крыша нужна была новая, а на это денег не было.

Катин дом несколько раз пытались отобрать. Риелторы думали, что чокнутая дамочка подпишет все, что ни подсунешь. Место-то уникальное – пусть небольшой участок, а с собственным спуском к морю. Вид такой, что закачаешься. Да если эту халупу снести и дом нормальный поставить, ему цены не будет. Риелторы появлялись на Катином пороге регулярно. Но они не учли того, что хозяйка была не просто чокнутой, а буйной. Если к ней приходили незнакомцы, Катя начинала кричать, да так громко, что на набережной было слышно. И все немедленно сбегались. Риелторы быстро улепетывали – одна только тетя Валя, которая тут же начинала вопить, материться и чуть ли не в драку кидаться, чего стоила. А еще Настя, оравшая так, что заглушала Катю. И Ильич с Галей, которые тут же вызывали милицию. А милиция у нас кто? Милиция у нас дядя Саша. Дядя Саша был еще одним другом детства Ильича, как Артур. Он сам на вызов не приезжал, а присылал кого-нибудь из молодых да наглых, предварительно объяснив, на чьей стороне должен быть закон.

Катю с домом оберегали как могли. Тетя Валя была уверена, что риелторов подсылает бывший муж. Ильич считал, что и своих дельцов хватает.

Теперь про кипарисы. Как уж они проросли через кадку, утопленную в бетоне, на голову Кате, непонятно. Но на ее участке образовалось настоящее чудо природы – в разросшемся саду сверху висели корни. Ильич предлагал Кате корни обрезать, кипарисы пересадить, но она наотрез отказалась. Ей нравились корни, которые свисали, считай, с ее потолка. Она ими любовалась. Только переживала, что непонятно, как за ними ухаживать. За теми корнями, которые в земле, она знала как, а за теми, что свисают, не знала.

Только новая напасть случилась. По ночам, когда шторм или дождь, кипарисы скрипеть начинали. Громко, протяжно, будто стонали и плакали. Или вели нескончаемый диалог на своем языке.

Славик от этих звуков просыпался и начинал кричать. Он просыпался, забивался в угол кровати и кричал на одной ноте, будто подпевая, нет, подывая, кипарисам. Катя тоже в ответ кричала. Как эхо. Это был утробный крик. Катя кричала о своем. Это было страшно. Настолько страшно, когда не знаешь, что делать и чем помочь. Ничего не помогало. Ильич успокаивал

Славика, Галя спускалась к Кате и сидела с ней. Но они – мальчик и женщина – продолжали кричать. Будто в их легкие закачали столько воздуха, что он никогда не закончится. Срывались и Ильич, и Галя. Ильич кричал на сына, хотя не должен был, знал, что не должен, но ничего не мог с собой поделать.

– Замолчи немедленно! Замолчи!

Славик застывал на мгновение, замолкал, и принимался кричать с новой силой. Галя же заваривала самый сильный отвар из трав и заставляла Катю пить:

– Пей немедленно! Пей!

Отдыхающие просыпались, волновались, даже те, которые не жаловались, после двух бессонных ночей подходили к измученной Гале или шли сразу к Ильичу.

Галя извинялась, объясняла, про кипарисы рассказывала. Многие понимали, сочувствовали. Но были и те, кто скандалил: они отдыхать приехали, а не в чужое положение входить. Пусть и в тяжелое положение. Но не свое ведь, чужое, совершенно посторонних людей.

Тех, кто жаловался, Ильич в другие номера переселял – которые подороже, с лучшим видом. Один сезон был совсем тяжелым – штормило постоянно, кипарисы скрипели, Славик кричал, Катя кричала. Ильич с Галей совсем сон потеряли. Отдыхающие обещали жаловаться куда надо и грозились вызвать милицию, а те пусть этих сумасшедших в психушку везут. Разве можно таких людей с нормальными держать рядом? Нервы тогда у всех были расшатаны – отдыхающие жаловались на головные боли, на то, что отпуск пропадает из-за погоды. И в том, что лил дождь и штормило, тоже были виноваты Ильич и Галя, Катя со Славиком.

Очередной ночью, когда Славик закричал, Ильич не выдержал. Он вытащил сонного сына из постели, нацепил на него куртку и повел к кипарисам. Славик кричал уже в полный голос, упирался, кусался. Ему было страшно идти к деревьям ночью. Он хотел домой, в кровать. Но Ильич тащил сына на террасу. Он подвел вопившего и извивавшегося Славика к кипарисам и начал рассказывать про корни, которые сейчас внизу. Они спустились к Кате, и Славик, задрав голову, смотрел на корни. И Катя смотрела, будто впервые увидела, что у нее с потолка свисает. Ильич говорил, что кипарисы – их защитники, их дома, пансионата. Что, пока стоят кипарисы, с ними ничего не случится.

После этого Славик решил, что кипарисы живые, как почти настоящие рыцари. Он стал с ними разговаривать, они ему отвечали скрипом. Славик больше не кричал, а сидел в своей кровати и общался с деревьями. Рассказывал про новый самокат, который папа подарил. Или про то, что завтра не будет есть котлету. А Ильич носил рубашку с длинным рукавом – прикрывал укусы, которые оставил сын. Глубокие, саднящие.

Славик... боль и счастье. Проклятие и наказание. Единственный смысл в жизни. Сын. Сейчас детей по именам зовут, да еще имена такие заковыристые. Радомир или Святозар, Богдан, Милена, Владлена, Святослава. А раньше по-простому было. «Сын, иди сюда», «Сын, пошли, пора». Или доча. «Доча» – красиво звучит. Мягко, нежно. Особенно если говор, как у тети Вали, – у нее «доча» нежно получается, на конце «я» слышится. Иногда даже совсем мягко – «дося».

Ильич мечтал о дочери. Но об этой мечте никому не говорил. Даже самого себя перебивал в мыслях и пугался – какая доча? У него сын. «Сын, тихо, тихо, все хорошо». Дочь у него тоже, можно сказать, была – Светка. Светка и Славик. Дети. Роднее не бывает.

Славика все знали, конечно, не обижали, не дергали. А какой интерес? Дурачок.

Как называлась эта болезнь, которая у Славика, Ильич не знал и не хотел знать. Врачи разное говорили. Сколько этих врачей было? Да не перечесать. И никто не помог. Ильич думал: как же так? Время другое, все другое, а лечить болезни не научились. Другие хвори лечили, вакцины изобрели всякие, а такую, как у Славика, нет. Даже не знают, как она называется. Говорят, синдром. Надо в Москву ехать, чтобы точно узнать, или в Европу. Но Ильич не мог в Москву. А уж в Европу – тем более. Славика и ДЦП ставили, и аутизм, и много чего еще. Син-



дромы с такими заковыристыми фамилиями называли, что не запомнишь. Детей научились в пробирке выращивать, а готовых, которые уже родились, – вылечить не могут. Ильич себя одергивал – ведь помогли. И лекарства выписывали, и процедуры. Если бы не делали, может, и хуже все было. Кто знает? Никто не знает. Как никто не знает, отчего такие дети, как Славик, рождаются. Наследственность? Инфекция? Кто виноват? Мать? Отец? Или никто не виноват? Врачи так и не смогли объяснить Ильичу – за что? За что именно ему? Почему не кому-нибудь другому? Почему у других здоровые дети, а у него Славик? Нет, Ильич не роптал на судьбу, он бы Славика на сто здоровых детей не променял. Но за что Славика такое? За что ему такая судьба? Ведь ничего плохого не сделал.

Он один раз спросил у Гали: почему не нашли способ лечения? Разве мало таких детей? Разве нельзя сделать операцию и все вылечить? Изобрести таблетку?

Галя тогда со Светкой мучилась. Светка перекупалась, и у нее разболелось ухо. Галя уже и масло подсолнечное ей капала, и перекисью водорода промывала, и компрессы из водки делала. А Светка оглохла, ничего не слышала правым ухом, и говорила, что болит.

Галя ее к врачу потащила, хотя Светка орала дурниной. Галя боялась, что воспаление среднего уха или еще что-нибудь. Но оказалось – пробка. Банальная серная пробка. От перекиси пробка размякла, и стало еще хуже. Время изменилось, люди в космос летали, а Светке выковыривали пробку длинным стержнем с намотанной на конец ваткой. И Светка кричала, что ей прямо в голову этой палкой лезут. Вырывалась. Ей уже и промывали, под давлением большим шприцом вливая воду в ухо, но пробка все равно сидела. Светка ходила к лору уже три раза.

– Ну вот как? – чуть не плакала Галя. – Обычная серная пробка, а вытащить не могут. И лекарства не придумали.

Здесь, в поселке, было другое отношение даже к болезням. Никто не знал про ротавирус, говорили, что «гриппует». Хилых и бледных называли «золотушными». Главным лекарством от всего оставалась марганцовка. Ее и внутрь, и наружно. Отравление? Вода теплая и два пальца в рот. И ромашка, конечно же, которая тоже – и внутрь, и наружно. Галя очень верила в ромашку – она и дезинфицирует, и жар снимает. От всего. За лекарствами для Славика ведь нужно было ездить в город, там стоять в очереди в аптеку, потом возвращаться в поселок и снова ждать, когда нужный препарат закажут, и опять ехать забирать. А ромашка на каждом углу – и сушеная, и с цветками, и россыпью. Галя мыла голову отваром из ромашки, Славика делала ромашковые ванны, Светка та вообще была ромашкой пропитана с ног до головы. Но толку от ромашки было мало. Славик не выздоровел, Галя стала повязывать платок на голову – волосы выпадали. Она красилась, подводила брови, а потом плюнула. И ходила седая. Тетя Валя ее подстригла прямо на террасе, и для Ильича новый Галин вид стал шоком. Она оказалась совершенно седая, с коротким ежиком. На фоне новой прически резко проступили глаза, вполлица, губы, скулы. Отдыхающие из числа женщин считали Галину Васильевну очень современной. Обнаружилось, что седой ежик вошел в моду. Галину Васильевну сравнивали со знаменитой актрисой. Галя улыбалась. И всем советовала покупать ромашку. Ее и в чай, и в ванну можно. Как и лаванду. Женщины записывали рецепты и скупали травы.

– Зачем ты их обманываешь? – спросил как-то Ильич.

– А что, я им правду должна говорить? Что у меня седина в тридцать лет появилась? Что я не знала, как лысину прикрыть? Или ты хочешь, чтобы меня жалели? Нет, я буду седой, лысой, но модной. Людям нужно во что-то верить. Хотя бы в ромашку.

Ильич кивал. Да, ему тоже хотелось во что-нибудь верить. Но он уже не мог, не был способен. Закончился запас веры. Когда Славик был маленький, он и в монастыри ездил, и молился святым. Просил за Славика. У всех просил, но никто не дал его сыну здоровья. Потом Ильич стал просить о терпении, о том, чтобы избавиться от ненависти, злобы. Дать душе покой. Но и этого не дождался, хотя молился усердно. Потом враз плюнул и забыл про веру. Иконы отдал

Федору, который выставил их в закутке около стойки администратора. Ильич, когда увидел, хотел рот открыть, но промолчал. Людям нравилось. Федор же повесил портрет президента на видном месте, на том самом, где раньше висел Ленин, потом Сталин, потом два вождя рядом, затем Хрущев и Брежнев. Место на стене было, так сказать, затертое, со следами от рамки. Обои сколько раз переклеивали, а то место все равно темнее оказывалось. Ильич думал, что старые портреты вождей Федор давно выбросил, а оказалось, он их в свою комнату унес и сложил в ящик. Это ему Настя рассказала, которая не удержалась и проверила ящики.

– Коммуняка вшивый, – брезгливо сказала Настя, – они у него все лежат, стопочкой, в нижнем ящике. Да что б у него руки отсохли!

– Как же твои принципы? – ухмыльнулся Ильич. – Ты же в ящики на лазишь.

– Так я для безопасности. Чтоб знать, что у этого извращенца на уме.

Настя Федора ненавидела. Все думали, что за тот удар в челюсть, и только Галя знала, что Настя ненависть испытывала по политическим мотивам. У нее дед с бабкой в лагерях умерли. И даже неизвестно, где похоронены. Настя тогда, кстати, портреты забрала и сожгла. И Федор даже не пикнул. Будто и не было никаких портретов. Побоялся рот открывать. Настя все ждала, что он хавальник откроет, но Федор молчал как рыба. Настя так и не высказала ему все, что собиралась, что давно отрепетировала и проговорила про себя. Федор не дал ей такой возможности. А вместо этого, паскуда, повесил новые портреты. Чтобы прикрыть зияющее темное место – нынешних вождей. Тут же и иконы выставил. И как в воду глядел. Отдыхающим нравилось. Прямо посмотришь – портрет президента, направо взгляд кинешь – иконы. На любой вкус: тут и Богоматерь, и Николай-угодник, и Семистрельная, которая плохих людей от дома отваживает, и Кирилл с Мефодием – как раз для творческих людей. Ведь их пансионат – Дом творчества, а не абы что. Федя собирался еще лампадку повесить, но Галина Васильевна запретила. Требование пожарной безопасности. Федор же чутко ловил предпочтения клиентов – дамочкам, бабулечкам занавесочку приоткрывал, чтобы иконы виднее были. Когда мужчина солидный появлялся, без шеи, с часами дорогими, – Федор пыль с портрета президента начинал тряпочкой стирать. Потом к его коллекции добавился «глаз от сглаза». Федор, конечно, не знал, что оберег называется «глаз Фатимы», что он мусульманский, но знал, что он турецкий. А в Турции многие отдыхающие были, так что им понравится. И опять, зараза, оказался прав. «Глаз» прижился, соседствуя с иконами и портретами. Президента Федору показалось мало, и он еще местного губернатора вывесил, но пониже, под президентом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.